

П. В. ЗАСОДИМСКИЙ ГРЕШНИЦА



П. В. З А С О Д И М С К И Й

ГРЕШНИЦА

П. В. Засодимский



**ГРЕШНИЦА
•
ТЕМНЫЕ СИЛЫ**



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной литературы
Москва 1959

Текст печатается по изданию:
Собрание сочинений П. Засодимского,
том I, СПб. 1895

Оформление художника
Н. Симаховской

П. В. ЗАСОДИМСКИЙ

(1843—1912)

«Могу с полной уверенностью сказать, — писал в своих воспоминаниях Павел Владимирович Засодимский, — что вечером 24 марта 1867 года, когда над Петербургом гул колоколов весело разносился в ясном весеннем воздухе, в числе проходивших по Владимирской улице (не имевших ни гроша за душой), несомненно, был по крайней мере *один* счастливый человек — и этим счастливецем был я»¹. В этот день молодой начинающий литератор узнал, что его первое художественное произведение — повесть «Грешница» — принята и будет напечатана в журнале «Дело». Преисполненному радужных надежд юноше тогда казалось, что наконец после долгих мытарств, мучительных полуголодных лет его ждут удачи, успех и благополучие. Но не «покой и счастье» нашел Засодимский на «тернистом литературном поле», а беспокойную и трудную жизнь писателя-разночинца, вынужденного писать в лихорадочной спешке и ради куска хлеба нести свои рукописи с непросохшими еще чернилами в редакции журналов и газет.

Счастливыми и радостными были только детские годы писателя, прошедшие сначала в маленьком провинциальном городке Вологодской губернии — Никольске, а затем в скромном имении матери — Мирюлюбове. Семья не была богатой, но нужды не знала. Отец служил чиновником по министерству государственных имуществ. Мальчик рос в атмосфере любви и уважения к простому народу, искреннего сочувствия к его горькой доле. Уже будучи зрелым человеком, Засодимский с большой теплотой говорил о своей матери, человеке благородного и отзывчивого сердца. Она «по своей... доброте не умела никому отказывать, хотя бы проситель был самый последний из людей»², — вспоминал он.

¹ П. В. Засодимский, Из воспоминаний, М. 1908, стр. 194.

² Там же, стр. 18.

Под влиянием семьи, постоянного общения с деревенским человеком, дружбы с крестьянскими ребятами в душе мальчика родилась большая любовь к народу, верность которой он сохранил до последних своих дней.

С поступлением в 1855 году в дворянский пансион Вологодской гимназии для юного Засодимского наступила трудная пора. Первые годы в гимназии были тяжелым кошмаром: невежественные учителя, бессмысленная палочная дисциплина, спартанско-аскетический режим. Оторванность от родного дома, жестокие издевательства угнетали мальчика и причиняли ему большие страдания.

Свежим ветром в Вологодской гимназии повеяло только в эпоху общественного подъема 60-х годов, когда в учебные заведения Российской империи влились молодые силы — воспитанники педагогических институтов, горячие поборники идеалов революционной демократии. «С начала шестидесятых годов, — отмечал Засодимский, — у нас повеяло новым духом. Читали гончаровского «Обломова», «Детство и отрочество» Л. Толстого, повести Тургенева, стихотворения Некрасова, из которых многие заучивались наизусть»¹. В старших классах под влиянием учителя словесности Н. П. Левицкого Засодимский познакомился с революционной публицистикой, с нелегальной антиправительственной литературой. «...Я стал зачитываться сочинениями Герцена: «Былое и думы», «Социализм и Россия», «С того берега», номера «Колокола», — все перебивало в моих руках. Позже наряду с Герценом, — указывал в автобиографической заметке Засодимский, — сильное влияние оказали на мое умственное развитие и склад моих убеждений Чернышевский и Добролюбов»².

Именно в эти годы формировались демократические взгляды писателя, возникло непреклонное желание посвятить всего себя, всю свою жизнь угнетенному и поработанному народу. После окончания гимназии юноша решительно отказывается от чиновничьей карьеры, которую ему предлагал отец, и с несколькими рублями в кармане отправляется в Петербург, — туда, где университет, где издается «Современник», кипит напряженная идейная борьба. 10 сентября 1863 года Засодимский был зачислен на юридический факультет Петербургского университета, но из-за отсутствия средств вынужден через полтора года его оставить. Время, проведенное в Петербурге, явилось временем суровой и непрестан-

¹ П. В. Засодимский, Из воспоминаний, М. 1908, стр. 153.

² «Голос минувшего», 1913, кн. 5, стр. 146.

ной борьбы за существование. Скитаясь по каморкам и углам, Засодимский жил уроками и занимался мелкой поденной литературной работой, а в свободную минуту писал стихи, сочинял повести.

Первое произведение молодого писателя, его повесть «Грешница», несет на себе отсвет этого трудного и тревожного существования, проникнуто болью за обитателей петербургских трущоб.

Засодимский не был выдающимся художником слова, но тем не менее творчество этого незаслуженно забытого писателя, неутомимого исследователя народной жизни отражает многие существенные стороны пореформенной эпохи и обладает не только большой познавательной ценностью, но и несомненными литературными достоинствами. Для него, как и для всей передовой литературы 60—70-х годов, характерно стремление запечатлеть новую общественную действительность, понять и осмыслить тенденции социального развития страны, воспроизвести со всей конкретностью те пласты народа, которые еще только начинали привлекать взоры художников. На протяжении своего долгого литературного пути Засодимский тщательно исследует типы и характеры современной ему эпохи, воспроизводит присущие ей социальные конфликты, морально-этические коллизии.

Так, рассказанная писателем в его первом произведении история грехопадения наивной провинциальной девушки не имеет самодовлеющего значения, а является поводом для того, чтобы нарисовать страшную картину бедствий и страданий трудовых «низов», создать произведение, обличающее систему общественного неравенства. Трагическая судьба Маши, ее матери, многочисленных обитателей петербургских подвалов, нищих и обездоленных российских граждан поставлена писателем в прямую связь с социальным укладом буржуазно-дворянской России. «В зимней стуже, на летнем зное и в грязи» выросла мать героини повести Арина Петровна, происходившая из «крепостного сословия». Такой же бесприютной, голодной была ее жизнь на «воле», в дырявой и ветхой лачуге. Еще более мрачна судьба ее дочери, появившейся на свет в час смерти своего отца. Она также прошла сквозь горнило страданий и унижений нищего, вечно голодного ребенка. Любовь и сочувствие автора к отверженным жертвам общества, его подлинный гуманизм проявился в образе Маши, с ее душевной чистотой, порядочностью, бескорыстием.

Историю и характер взаимоотношений Маши и ее «обольстителя» Свержинского Засодимский рассматривает не только как этическую, но и как социальную проблему. Свержинский, принадлежащий к господствующим классам, является типичным героем

пустой и либеральной фразы. За рассуждениями «о Фейербахе, Мошотте и Бюхнере», за проповедью «всеобщей аркадской эмансипации», скорбью о напрасно «сорванном цветке» скрывается паразитическая сущность собственника, психология жестокого эгоизма. Маша становится его жертвой не только из-за его безнравственности, низменных побуждений, но главным образом потому, что она стоит на более низкой ступени общественной лестницы. Маша в его представлении вещь, существо, принадлежащее к такому сословию, по отношению к которому он чувствует себя свободным от каких бы то ни было моральных и материальных обязательств. Вот почему заключительные слова повести: «А между тем как бы могла быть эта самая жизнь и полна и светла» — звучат суровым приговором обществу, узаконившему социальную несправедливость и неравенство.

Повесть «Темные силы», написанная в 1870 году, так же как и «Грешница», по своему содержанию и идейной направленности примыкает к беллетристике 60-х годов, основной темой которой было изображение безрадостного существования мужика, городского пролетария, мещанина, чиновника, всех тех слоев, которые особенно остро страдали от противоречий пореформенной эпохи. В повести Засодимского реалистически правдиво рассказывается о семье мастерового, ее страшной нужде, притеснениях и страданиях.

В центре внимания автора «люди, живущие впроголодь и впроголодь, для которых жизнь на белом свете представляется вечной каторгой». На судьбах этой рабочей семьи писатель показывает, как в собственническом эксплуататорском обществе физически и нравственно калечится человеческая личность.

«Как тяжелую работу отбывал жизнь» глава семьи столяр Никита, его жена «работала рук не покладая... занималась прачечным ремеслом, ходила мыть поля, летом... занималась на огородах», ее дочь Настя «в свободное от стирки время клеила гильзы, разносила их по домам и даже нередко пилила с отцом», шестнадцатилетний Алешка «был отдан сапожнику куму в ученье», девятилетний Степка служил «на побегушках в мелочной лавочке». Но труд не спасал их от бедности, нищеты, которая как рок преследует и губит семью. Угас без врачебной помощи маленький Андрей, умирает зачавшая от труда, от волчьих жестоких нравов в семье мужа Настя, тонет сбежавший в поисках такого места, «где не обижали бы бедных ребят», Степка, «под конвоем по сибирской дорожке» угоняют Алешку.

Но Засодимский изображает не только страдания и горе народное, он увидел также, как в толще народа уже возникают «проблески неясных дум, нерешенных вопросов» — предвестники про-

буждения и подъема его на борьбу за коренное изменение общественного строя.

«Идейное движение, происходящее сейчас в России, свидетельствует о том, что глубоко в низах происходит брожение»¹, — писал Маркс, имея в виду 70-е годы. Вот это глухое «брожение» в среде неразвитой, далекой еще от сознательного и целеустремленного протеста показано в повести Засодимского. Его герои еще не в силах понять, какие «темные силы» гнетут и омрачают их существование, лишают их свободы действия и держат в плену рабства и нужды. Но они уже стихийно бунтуют, недоумевают и мечтают об иной, лучшей, жизни. «Зачем испорчена, погублена из-за алтына ее жизнь, — спрашивает Настя, — кто дал право ее портить, то есть портить то, для починки чего и мастера нет? Да кто же испортил? Кто?» Не выдержав издевательств хозяев, с мечтой о привольном детстве бегут из своего подвала Степка и Алешка, не пожелавшие мириться с тем горьким существованием, на которое они обречены. Истомленный горем и невзгодами, Никита кидает камнем в стену дома своего обидчика. Во сне ему чудится, что каким-то «совсем другим» стал его родной город, в нем теперь «огромные белые красивые здания утопают в роскошных садах» и для всех его обитателей наступило «царствие божие». Этот сон так же, как и евангельская проповедь Ивана Мудрого о временах, когда «люди не будут обижать друг друга», свидетельствовали не только об абстрактности и расплывчатости их идеала «хорошей жизни», но также и о страстном желании избавиться от всего того, что так омрачало их земное бытие.

Герои Засодимского и в силу своего невежества и отсталости и в силу тех исторических условий, в которых находилась Россия, только вступающая на путь буржуазного развития, еще не созрели до мысли, что единственным способом избавления от угнетавших их «темных сил» может быть только их собственная революционная борьба.

Дальнейшее творчество Засодимского в той или иной мере отражало его связь с народническим движением, составившим целый этап в истории освободительной борьбы русского народа. С революционными народниками Засодимского сближали живой интерес к положению народа, вражда к самодержавию и дворянству, резко отрицательное отношение к буржуазному предпринимательству, убеждение, что «артель», «община» представляет собой наиболее благоприятную форму крестьянского быта.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, Госполитиздат, М. 1953, стр. 256.

Засодимский был участником «хождения в народ»: учительствовал в сельской школе в Новгородской губернии, по поручению журнала «Дело» в 1872 году обследовал молочные и кузнечные артели Тверской губернии, исходил и изъездил Пензенскую, Вологодскую и Петербургскую губернии. По его собственным словам, «половину жизни провел в деревне среди народа». Скитаясь «по градам и весям» России, он пристально наблюдал и изучал жизнь мужика и проникся тревогой за его судьбу.

Благодаря действительному знанию деревни в произведениях Засодимского, так же как и в творчестве Глеба Успенского, И. Наумова, отчасти Н. Златовратского, преобладали «не приторные сказки о каком-то общинном быте» (Ленин), а правдивое изображение процесса социального расслоения деревни, хищнической деятельности тех, кого Маркс именовал «новыми столпами общества».

В 1874 году в журнале «Отечественные записки», возглавляемом Салтыковым-Щедриным и Некрасовым, было опубликовано одно из наиболее значительных произведений Засодимского — его роман «Хроника села Смурина». В этом романе обстоятельно и зримо показано, какую огромную силу приобрел кулак в деревне, как «крестьяне, переставши быть графскими, очутились чирковыми, и от воли и живого духа не осталось». Роман еще интересен и тем, что народнические симпатии автора, его вера в общину не помешали ему правдиво показать, что общинные формы быта, насаждение артелей, ссудо-сберегательных товариществ не в силах парализовать власть кулака, предотвратить его проникновение во все поры деревенской жизни, избавить мужика от нищеты и разорения.

Подобно большинству участников «хождения в народ», Засодимский также увидел несостоятельность, иллюзорность веры народников в стихийную революционность мужика, в его готовность к сознательной и решительной борьбе с самодержавием. В романе «Кто во что горазд» (1878) воспроизведено то состояние разобщенности, взаимной вражды, «глухой, затаенной подпольной борьбы», политической незрелости, в котором находилась пореформенная деревня. Оставаясь на почве народничества, писатель с особенной остротой увидел в той деревне, с которой он связывал свои мечты о скором социальном перевороте, косность, невежество, забитость, общественную индифферентность. Горечью, разочарованием, душевной смятенностью проникнут этот роман, свидетельствующий о честности его автора, верности реальной действительности.

О сложности идейных исканий писателя дает представление одно из интереснейших произведений Засодимского, его роман «По

градам и весям» (1885). Герой этого романа участник подпольного народнического освободительного движения землемер Верюгин, пережив крушение своих взглядов, обращает свой взор и все надежды на Петербург, «где дымятся высокие фабричные трубы», «где толпы закоптелых рабочих встречаются на улице». Герой романа при виде этих новых людей, людей будущего, «быстро шел, бодро смотря вперед, в даль, сиявшую золотом солнечных лучей». Однако сам Засодимский до конца своей жизни оставался верен народническим идеалам и не смог осознать все великое значение появления на арене истории нового класса — русского пролетариата.

В период жестокой реакции 80-х годов, крушения народнического движения, Засодимский во многих своих произведениях рисует нравственные страдания интеллигенции, тоскующей по «живому делу», разочарованной в своих «пророках и учителях», но не знающей пути борьбы за свои идеалы («Веретьев»). Большое место в его творчестве этих лет занимает обличение интеллигенции, отказавшейся от своих демократических убеждений и превратившейся в «благополучных россиянинов» («Песенка спета»).

В 90-е годы Засодимский отдал дань увлечению «толстовщиной», проповеди теории нравственного самоусовершенствования личности. Эти взгляды писателя наиболее отчетливо проявились в его романе «Грех» (1893). В дальнейшем писатель отходит от толстовства.

Засодимский, автор многочисленных романов и повестей, завоевал признание читателей, его произведения ценили и виднейшие писатели того времени. Так, роман «Хроника села Смурина» был принят, одобрен и высоко оценен Салтыковым-Щедриным. Глеб Успенский, А. Левитов, С. Курочкин и многие другие видные русские писатели, с которыми Засодимский был связан по совместной работе в передовых журналах того времени, положительно отзывались о его произведениях. Лев Толстой в издательстве «Посредник», рассчитанном на издание книг для народа, напечатал повести «Черные вороны», «Весь век для других». Получив от Засодимского рассказ «Перед потухшим камельком», Толстой тут же откликнулся письмом от 13 января 1891 года, в котором высказал автору слова признания и восхищения: «Я получил ваш рассказ, — писал он ему, — и тотчас же прочел про себя и другой раз своим домашним, так он мне понравился. Это то самое искусство, которое имеет право на существование. Рассказ прекрасный, и значение его не только ясно, но хватает за сердце. Вы спрашиваете о слабых сторонах. Слабого нет, все сильно... Рассказ очень, очень хороший и по форме и по содержанию».

Уже будучи известным писателем, Засодимский продолжал

вести трудную жизнь человека, живущего на свой литературный заработок. В 1891 году, за выступление с яркой политической речью на похоронах одного из видных представителей русского революционного движения Н. Шелгунова, он был административно выслан за пределы Петербурга и лишен права жить в Москве. Только после нескольких лет мытарств и скитаний он получил возможность вернуться в Петербург к семье и литературной работе. В 1908 году Засодимский поселился в Новгородской губернии, где писал детские рассказы, работал над воспоминаниями о своем детстве, встречал с писателями («Из моих воспоминаний») и над большим историко-политическим трактатом «Деспотизм, его принципы, применения их и борьба с деспотизмом». Здесь в Новгородской губернии, в селе Жадине, 4 мая 1912 года он и скончался.

В предисловии к своему двухтомному собранию сочинений Засодимский в 1895 году писал: «Не нахожу нужным скрывать, да и излишне распространяться о том, что все мои горячие симпатии всегда были и остались на стороне бедных, обездоленных, на стороне рабочих масс. Ни в одной строке, написанной мной, читатель не найдет ни единого выражения, которое противоречило бы этой основной идее моей жизни и деятельности». Вся жизнь писателя и все его творчество подтверждают справедливость этих строк. Что бы он ни писал и где бы он ни находился, перед ним всегда стоял образ страдальца народа, для которого он мучительно искал лучшей доли — без царя, помещика, без гнета и эксплуатации. Изображению положения народа в пореформенную эпоху, идейным исканиям лучших людей посвящены многие страницы его книг, без которых наше знание родной литературы будет неполным. Благородный человек, талантливый и честный художник-демократ Засодимский заслуживает того, чтобы народ, которому он посвятил всю свою жизнь, знал его, любил и читал его произведения.

С. Розанова

ГРЕШНИЦА

ТЕМНЫЕ СИЛЫ



ГРЕШНИЦА

Повесть

Она родилась в ту ночь, как умер ее отец.

Первый плач ребенка был для него последним ясным звуком, услышанным им в минуты предсмертной агонии. Когда он испустил последний вздох и в потолок устались его неподвижные глаза, тогда же дитя, всхлипывая, впервые вздохнуло открытым воздухом, впервые заблестали его глазенки, чуть видимые... Ни дочь не видала отца, ни отец — дочери, а оба между тем были так близко друг к другу: одна только что начинала путь, другой — уже прошел его до конца... Одна жизнь являлась и — в тот же момент — исчезала другая...

Бедняк почтальон немного оставил после себя в наследство: старенький, покряхтывавший домишко на краю города, маленький огород с несколькими грядками, да в сундуке деньгами пять рублей семь гривен — и только. Средства к жизни, значит, далеко не роскошные. Вдове с новорожденною дочерью на руках перспектива пред-

ставлялась незавидная: прямо ей навстречу шла нищета, за нею показывались ее неразлучные спутники: горе и болезни. Много ей рисовалось впереди дней голодных и голодных, много бессонных ночей, полных тяжелого раздумья вместо сладких грез...

Мать, обессиленная физическими и душевными страданиями, лежа на своей жесткой постели, горько плакала; плакала и дочь, изредка слабо вскрикивая: малютка бессознательно начала уже выполнять свое земное назначение.

Кумушка-соседка хлопотала около родильницы и младенца, а старик, церковный сторож, с дьячковским сыном семинаристом обряжали покойника и укладывали его, по обычаю, в переднем углу под образами. Семинарист взялся и читать.

— Болен-то он долго был? — спросил семинарист.

— Недели три, пожалуй, этак будет... Маялся, сердечный!

— Да что с ним случилось-то?

— Простудился. С почтой ехал, да на перевозе, на Митюхинском, знаешь по Питенбургскому трахту, что-то и подеялось: то ли паром неплотно притянули, то ли сами лошади махнули, — разное говорят. Почту-то успели захватить, спасли... а вот сам-то и сплхоловал... Что будешь тут делать! Простужался, поди, и прежде не одинок — да ведь что... известно, поколе бог грехам терпит — и ничего! Все под богом ходим... Смертонька подойдет... — рассуждал старик, улаживая получше покойника.

Семинарист между тем, сидя у окна, покуривал цимбалку; едкий, сладковатый запах махорки разносился по комнатке, хозяин которой лежал неподвижно, прикрытый холстинным саваном.

За перегородкой в то же время вполголоса шли другие речи:

— Полно, Петровна, полно, голубушка! Больно-то не тужи! Слезами тут уж ничего не поделаешь! Потому — бог дал, бог и взял! Сама-то пуще не доведись!.. Смотри, что у тебя остается! Кому, как не тебе, ходить... — утешала кумушка, завертывая новорожденную в какие-то тряпки и укладывая ее в корзинку, должествовавшую на первых порах играть роль колыбели. — Вишь, — заметила она немного погодя, — господь-то

так и приводит... в кое время нужно радость — и пошлет. Не оставляет, милосердый, нас, грешных!..

— Дует очень... Заложить бы чем-нибудь! — слабым голосом проговорила хозяйка.

— Дует? — переспросила кумушка. — Ой, да и точно! Оконце-то у вас разбито! — и старуха отыскала где-то завалившуюся тряпицу и заткнула ею дыру.

— Молока-то у меня, кажется, не будет... — начала опять едва слышно родильница.

— Ничего, матка, ничего! Не горюй! У Спиридоновны попрошаю молока-то... даст! Ведь она добреющая у нас, дай бог ей здоровья, — не оставит! — успокаивала соседка бедную почтальоншу.

Церковный сторож ушел домой; кумушка тоже побрела с рассказами к своим домочадцам, обещав, впрочем, скоро возвратиться. Почтальонша осталась одна с ребенком.

В другой комнате раздавалось ленивое, несвязное чтение, а на дворе ветер шумел и крупный дождь хлестал в окна... Под эту музыку я расскажу тебе, читатель, бывальщину...

Почтальонша Арина Петровна, «модница», как называли ее соседи, — происходила из крепостного сословия и своею жизнью повторила историю многих... Родилась она в рабочую пору, где-то на поле, под кустом, и увидала белый свет из высокой травы; белые одуванчики, васильки и колокольчики слегка наклонялись над нею головками, как бы приветствуя ее появление в мир; пологом раскидывалось синее небо, залитое горячими лучами июльского солнца, а щебетанье воробьев было первою ее колыбельною песенкой. Выросла она, как водится, на зимней стуже, на летнем зное и в грязи: бегала босиком по снегу в морозы трескучие; в летние жары, разгоревшись, пила пригоршнями ключевую воду; падала из окна, бесчисленное число раз валялась с лавок, со стола, с полатей; ела разную траву, даже грязь; сосала пряники собственного приготовления из глины, попадала на рога коров, чуть была не закушена бешеною собакой, — и, несмотря на все подобные злоключения, осталась жива, здорова и даже не изувечилась. Так росла не она одна, а все поколение, с нею вместе поднимавшееся на ноги. Но не все одинаково счастливо отделялись: система воспитания, основанная

на несложном принципе: «Бог не выдаст — свинья не съест» — действовала на иных губительно. Так, например, один мальчуган утонул в колодце, другой был раздавлен проезжавшею коляской, третий объелся чего-то и умер в страшных корчах; одна девочка глаз себе выколола веретеном; много ребят перемерло от простуды, а уж сколько сгибло от домашнего леченья, то одному богу известно... Ариша спаслась.

Первые ее товарищи в играх, с которыми она делила минуты радости и печали, были поросята: вследствие постоянных дружеских с ними сношений она так ловко научилась подражать их хрюканью и визгу, что не раз вводила в обман своих домашних: последнее обстоятельство помогло упрочиться за нею прозвищу «Поросенка». Но поросята, быстро подрастая, брали верх над человеком, и мирные отношения расстраивались в ожидании, пока явится более молодое поколение поросят. Когда Ариша забавлялась со своими четвероногими друзьями, тогда, право, трудно было сказать утвердительно, кто из них грязнее...

Потом Ариша стала показываться уже на улице. Перед публикой она любила являться с куском пирога или с чем-нибудь другим, не менее заманчивым; вероятно, желание возбудить зависть руководило ею в этом случае. Но таковые поступки не нравились почасту голодавшей публике, — пирог отымался, и Ариша нередко возвращалась с поля битвы домой растрепанная, в слезах и долго ревела, так долго, что иногда отец или мать наконец не выдерживали и, поднявши рубашонку, хлестали Аришу по указанному месту прутом; девочка в те критические минуты, конечно, ревела так, как будто ее варом варили; после же энергической расправы на разгоревшееся сердце нисходило смирение, и только глухие, прерываемые всхлипыванья доказывали, что волнение ослабевает и горе утишается.

В праздники отец шутил с нею по-своему.

— Аришка, ходи медведем! Баранью кость дам! — скажет, бывало, отец.

Аришка становилась на четвереньки и путешествовала взад и вперед по щелеватому полу.

— Да ты урчи, Поросенок! Чего так-то ползаешь!.. — добавит родитель.

Аришка заурчит.

После глоданья бараньей кости для нее было первым наслаждением ездить с отцом на пегашке. Любила она также по осени, темным вечерком, забраться с отцом в подовин, слушать и смотреть, что делают и говорят там.

— Ну что, чертова девка? В теплину хошь? — спросит отец, бывало, указывая на огонь.

Девочка смотрит на горящие головни; дым ест глаза, обдает смрадом, копотью, — а ей ничего! Она, вполне довольная и счастливая, играет на земле колосьями и воображает бог весть что.

— Тятя, банный ведь сюда не ходит? — обратится она, бывало, к отцу, припомнив разные бывальщины и небывальщины, которые так любит деревенский верующий люд.

— Может, и заходит! Кто его знает! А уж коли заберется, так тебе не миновать беды. Где, скажет, тут Аришка? Давай мне ее! Да и — хам! — на последних словах голос принимал грозный, рычащий тон.

Девочка жалась к отцу, мурашки пробегали по телу, — и ей было хорошо.

Но высокаторжественным событием в жизни было для нее хождение за грибами и за малиной в Перекастовский волок. Когда девчата брали ее с собой, она восхищалась до седьмого неба. Хорошо идти в страшный лес: там дико и темно... Страшен он потому, что в нем медведи живут. Давно когда-то медведь унес девушку и заключил ее в свою берлогу; по ночам в лесу кто-то жалобно стонет, — кому же стонать, как не бедной Акульке от побоев или от ласк своего мохнатого суженого; иногда кто-то плачет, кому же плакать, как не детям Акульки... Так говорили в деревне, слышала Ариша. Песни веселые замолкали, и со страхом и трепетом вступали девчата в сумрак леса; из-за каждого куста малины — чудилось им — выглядывает косматый хозяин; захрустит сухая ветка под ногой, — а им уж мерещатся разные ужасы...

Так тянулась жизнь Ариши до шести лет, и не было в этой жизни ничего выдающегося; день за днем шел, словно по расписанию, заранее составленному. По седьмому году, вовсе неожиданно, была она оторвана от родной закоптелой избы и переброшена на другую дорожку.

Забегала к ним раз в деревню собака хромая, смешная такая, — о трех ногах. Дело было вечером, после работ. Старое поколение принялось, по обыкновению, рассуждать: отрубили ли ногу собаке, или она в клепец¹ попала; пошли догадки: как и откуда взялась эта безногая тварь. Молодое же поколение, склонное, как известно, более к делу, чем к словам, принялось с яростью гоняться за хромым прищельцем. С толпою мальчишек, преследуя собачонку, забежала и Ариша на барский двор. Барыня, владетельница Жгутовки, сидевшая на крыльце и разговаривавшая на ту пору со старостой, заметила смазливенькую Аришу.

— Чья это девочка? — спросила она.

— Эфта-с, черноглазая-то? Петрушки Гребешкова-с.

— А! Как зовут? Кликни-ка ее сюда!

— Аришкой-с. Аришка, подь-ко сюда! — подзывал ее староста. — Подь, дурочка! Чего ты стала! — крикнул он, махая шапкой и смягчая, сколь возможно, свой голос, придавая ему оттенок нежности и ласки. — Барыня пряник даст...

Ариша с робостью оглядывалась по сторонам и держалась за приворотный столб, не трогаясь с места. Барыню она никогда еще не видала, старосту же знала и боялась: она познакомилась с ним на барском гороховище, где «сердитый дядя» раз застал ее и больно оттащил за волосенки... Аришкины спутники скрылись за воротами и зорко поглядывали из-за разросшихся лопухов на сцену, в которой Аришке привелось играть роль. «Выстегают ее! Пряник, слышь, сулят! Заманивают только, поди...» — рассуждали маленькие наблюдатели, сильно интересуясь тем, какая участь постигнет Аришку. Девочка сама бы охотно присоединилась к ним и толкнула бы на свое место Анютку, но боялась шаг ступить и оставалась неподвижною.

— Дикарка какая! Приведи ее!

Приказание барыни было тотчас исполнено.

— Ты не бойся, девочка! Тебя не тронут! — успокоивала госпожа перепуганную Аришку. — Хочешь в горницу? Ко мне хочешь идти жить? — спрашивала барыня и думала между тем: «Но какая замарашка! Ужасно! Настоящая чумичка! А недурна...»

¹ Клепец — небольшой капкан на зайцев, лис, куниц.

У Ариши язык не поворачивался.

— Хочу-с, мол, сударыня, коли ваша милость на то будет!.. — как бы подсказал староста, переступая с ноги на ногу.

— Хочешь? — повторила барыня.

Тут уж Ариша расхныкалась и принялась тереть глаза рукавом своей грязной рубахи. Но участь ее была уже решена; на другой же день ее переселили в господский дом, вычистили, вымыли, приделали как следует, — и Ариша стала горничною девочкой.

Вот что наделала хромая собачонка.

Хотя башмаки, о которых Ариша под родительским кровом даже и не мечтала, радовали ее, забавляла ленточка, которою подвязали ей волосы, тешило и платьице холстинковое, но первое время она непритворно грустила о своем прежнем вольном житье, когда она еще не знала вкуса чаю, а сахар маленькими кусками видала только у старостинного Егорки. Ей уж нельзя было сбегать в лес по ягоды или по грибы; ее не пускали в поле побегать и повозиться с ребятишками, — и на пегашке уж не кататься ей больше. Жизнь девицей с некоторым комфортом, к которому, впрочем, Ариша не успела еще привыкнуть, много проигрывала на первых порах при сравнении с простою деревенскою жизнью без стеснений.

Стала Аришка понемногу привыкать, приглядываться к новому для нее порядку вещей и мало-помалу совсем втянулась в новую сферу. К пятнадцати годам она уже стала истой «горничной»; мазала голову коровьим маслом, «масколилась» — по тамошнему выражению, изучила привычки господ до малейших подробностей, умела кстати подслужиться старухе Никифоровне, искала и находила случаи улизнуть лишний раз в людскую и просидеть там подольше, находила время побалагурить с лакеями, играла в дураки с девушками, пока Никифоровна сном наслаждалась, любила песенки попеть: «Кольцо души-девицы я в море уронил» или «Гусар, на саблю опираясь, в глубокой горести стоял...», научилась искусству, ничего не делая, сидеть за работой и любила хорошенько поспать. Изредка пила чай вприкусочку, получала подарки в образе платков, серег и бус, когда наезжали в их стороны разносчики и приглашались к господам, в залу; за разные невинные дурачества

навлекала она на себя гнев барский, попадала под розги, словом, жила так же, как все ее подруги. На свою наруганность она не могла пожаловаться; особенно ее черные глазки задевали за живое. Молодая, свежая, стройная, с полною, здоровою грудью, она нравилась многим Алешкам, Васькам и Сашкам. От барышни она научилась нескольким французским фразам и щеголяла ими; от барышни же переняла она манеру кокетничать, принаряжаться к лицу, делать глазки, надувать губы и кстати показывать ножку, как бы невзначай приподнимая платье. По всем этим причинам она подолгу вертелась перед барышним трюмо и всегда всего старательнее убирала туалет.

Восемнадцать лет стукнуло. Девка пуше прежнего стала модничать и смелее заперебивала с молодцами; не раз старушка Никифоровна грозила ей пальцем, что в переводе на обыкновенный человеческий язык значило: «Смотри! Не балуй! Господам доложу, так достанется тебе на орехи!..» Ариша понимала подобные знаки и умасливала, как могла, строгого аргуса¹.

Вдруг весь дом был неожиданно взволнован приездом дорогих гостей: молодого барина и его приятеля. В тихой, уединенной жизни Жгутовки это событие произвело ужасное смятение, которое не могло не отразиться и на девичьей: «Господи! Молодой барин приехал! Усы-то какие! видела? — А позументов-то сколько! — И не говори, девахонька, франт заморский! все по французскому!» — перешептывались девушки и пуше стали бояться серых пронизательных глаз старой Никифоровны. Молодой барин, гусар — любимец отца, а еще более матери, — катался как сыр в масле: чуть не на руках носили гусара. Никифоровна, не будь глупа, видя всю эту оказию, мигом сообразила, какую роль ей следует принять.

И вот, по летним вечерам, когда старые баре успокоятся, в старинном большом саду (раскинутом чуть ли не на восьми десятинах) стали устраиваться игры: молодые господа изволили тешиться с сенными девушками. По саду, в прозрачном сумраке летней ночи, меж

¹ А р г у с — здесь: неусыпный, зоркий страж; по имени стоглазого великана (*греч. миф.*).

кустами там и сям, мелькали, раздувались женские платья; порой раздавалось тихо «ау» под сводами вековых дубов и лип; слышался оживленный говор, легкий смех, а порой и робкий крик, заглушаемый звонким поцелуем... А соловей так и разливался в темных кустах сирени... Утомленная молодежь расходилась на покой, когда темно-синее небо уже голубело, золотые звезды бледнели и гасли, а на деревне пели петухи... Крепок был сон Ариши после таких прогулок, и горяча была ее подушка... Ей часто грезился ловкий молодой барин, его ласковые глаза, заглядывавшие, казалось, в душу, будили ее середь ночи; прикосновение мягких усов к горячей щеке долго спустя, даже и во сне, волновало девичью грудь.

Ариша понравилась гусару, и гусар приударил за нею.

Но горничной (хотя она и сама была равнодушна) нисколько не хотелось поступать в цех крепостных одалисок. Тут уж дело, вероятно, обошлось не без угроз, но как бы то ни было, — не одну, не две, а много ночек скоротала Ариша с молодым гусаром.

Наступила скучная пора дождливой осени; сад затих и опустел, туманами покрылись поля; красные деньки минули. Гости, «франты заморские», потревожившие мир и спокойствие жгутовского затишья, укатили в полк.

Ариша плакала.

В конце октября в том губернском городе, в сорока верстах от которого отстояла Жгутовка, бывала ежегодно ярмарка. Помещики, иные почти безвыездно проживавшие круглый год по своим усадьбам, в ту пору наезжали в город: кто пощеголять своими рысаками и экипажами, кто дочками, а кто и в картишки подуться. Отправилась и Ариша с господами на ярмарку. Здесь ее судьба столкнула с почтальоном Свириным, — буквально столкнула. Раз, выходя на крыльцо, она набежала на него и вскрикнула: «ах!», на что почтальон счел долгом заметить, что это «ничего-с». С того пошло знакомство. Сворин предложил выкупить ее, хотя Ариша мечтала вовсе о другом, но мысль сделаться вольною, хозяйкой дома — разогнала все ее мечты. Да и почтальон к тому же был молодец собой: такой бойкий и ловкий.

Здесь кстати можно заметить, что у старой барыни была страсть выдавать замуж и женить, за что соседи и прозвали ее «всемирною свахой». Когда Сворин предложил выкуп за Аришу, она было сначала заупрямилась, заломила баснословную цену за голову Ариши и так напугала почтальона, что тот задумывал уже обратиться вспять. Но, на его счастье, страсть к свадьбам проснулась в сердце жгутовской владительницы и взяла верх над корыстолюбивыми и другими чувствованиями; барыня согласилась, только выговорив, чтобы бракосочетание происходило непременно у нее в имении, чему влюбленный жених, конечно, и не прекословил.

Таким-то образом Ариша и обратилась в Арину Петровну Сворину, почтальоншу, — и зажила в городе своим домком и, можно сказать, припеваючи. Сворин ублажал свою молодую жену; она спала подолгу, пила чай два раза в день, иногда даже и внакладку. О ночных играх в жгутовском саду, конечно, было благоразумно умолчано, но ведь «шила в мешке не утаишь», говорит пословица; — и слухи как-то дошли и до почтальона; подобные слухи доходят как-то всегда стороной... Впрочем, муж, как человек не злой, простил былые увлечения горячей юности своей купленной жене и не отравлял ей жизнь упреками и гонениями. Соседки прозвали молодую почтальоншу «модницей» за то, что она по праздникам ходила гулять с зеленым зонтиком, подаренным ей барышней на память при прощанье, и в каких-то сереньких перчатках, зашитых бесчисленное множество раз. Муж подтрунивал за то над нею, но в душе был очень доволен таким щегольством и даже гордился тем, что жена его ходит наряднее других.

Прошла зима, весной беда случилась. Почтальон, как уже знает читатель из рассказа церковного сторожа, на Митюхинском перевозе попал как-то в воду, простудился, схватил лютую горячку и умер в тот день, в тот самый час, как жена родила дочь.

«Господи, господи! Что с нами будет? Как будем жить мы?» — думала Арина Петровна, и в ушах ее отдавалось печальное чтение за перегородкой и слабый плач дочери.

Там лежит человек, бывший один ее защитой, подпорой и кормильцем, любивший ее, — он мертв. Тут ребенок-крошка; его нужно растить, кормить, одевать...

Сворин, потратившись на выкуп невесты, на свадьбу, ничего не мог оставить после себя.

«Отец умер, сестры замуж повыходили; один брат остался дома, да и тот женатый, у него своя семья большая... Да и где ж мне ужиться с ними! — размышляла горемычная вдова о своем будущем. — Вот ребенок. Ему тоже надо: все лишнее, значит. Подрастать будет, больше понадобится. А откуда взять? — Работать!..»

В том-то и беда, что девичья не приучила ее ни к чему путному, ни к какому делу. Действительно, было от чего закружиться бедной голове; Арина Петровна чувствовала, что под нею земля обрывается...

Плакал ребенок, больная мать тяжело стонала; стоял за окном ветер... Тоскливая, грустная ночь переживалась в старом домике почтальона.

И утро рассвело невеселое, такое сумрачное, слезливое...

Со страхом заглядывала Арина Петровна в будущее: оно было темно. Там мелькали ей какие-то неясные призраки и пугали, суля недоброе. Замирая, ждала она этого «недоброго». Но время идет, как вода льет, — и будущее стало настоящим; угрюмая бедность пришла и сурово, холодно посмотрела в заплаканные Аришины глаза. Потянулись унылые дни, — конца им не видать. Пришлось стариться до поры до времени; с грустью оборачивалась она к своей быстро промелькнувшей молодости, но ненадолго; горькая действительность обступала ее; неотвязный вопрос о хлебе насущном не давал ей далеко отбегать и приковывал ее к настоящему крепкими, несокрушимыми цепями. А того ли ждала она, о том ли мечтала она в жгутовских весях?!¹ Молодая, свежая, красивая собой, она думала пожигь широко. Не сбылись надежды!

«В огороде только капуста да картофель, да и того мало; продавать — нечего нести на рынок; дай бог, самим бы хватило на зиму на пропитанье!» — размышляла Арина Петровна, сидя на лавке и покачивая

¹ Весь — деревня, селение.

одною ногой зыбку, в которой спала ее маленькая Маша. «Хорошо еще теперь лето, тепло; а вот подойдет осень, зима: холода настанут, а дров где добудешь, на что купишь, когда купила-то нет. Будем мы с Машкой голодать, — верно мое слово — будем мерзнуть, покуда совсем не окочуримся... Зачем и воля мне? Умереть-то везде вольно! Не удержали бы и у нас, в Жгутровке... Не пригодилась мне воля... К господам опять идти, под начало к Никифоровне, — сохрани меня господи! Да я уж и отвыкла! Там с ребенком-то теперь и не возьмут еще, пожалуй. Ох ты, прости господи, навязалась... Вот грех какой!» При этом мать чуть не заплакала: ей было досадно на самое себя за то, что она так думает. Горько ей стало; усиленно задвигала она ногой, так что зыбка судорожно вздрогнула и закачалась неровно; несколько тараканов попадало сверху, — проснулась Маша и заныкала.

Лишь только Арина Петровна слышала тихие, отрывистые звуки, тотчас чувство досады, охватившее было ее, пропало бесследно. Мать поднялась, раскинула дырявый полог и наклонилась к своему слабому, беспомощному дитяти.

— Что-о? Что-о? голубушка... не покушать ли захотелось? — заговорила она нежно, ласково, вынимая ребенка из колыбели и усаживаясь с ним подальше от разбитого окна, плохо заклеенного бумагой.

— Сыта? Ох, ты, крошечка, писаная моя! Радость ты моя! — проговорила после недолгого молчания Арина Петровна, покормив дочь грудью. — Не спатиньки ли опять? Ну, о-о-о! О-о-о! Баюшки-баю, баю-баюшки, бай-бай! Спи, усни, угомон тебя возьми! — замурлыкала Петровна, укачивая на руках Машу.

Давно уже смерклось. Месяц скрывался за облаками и снова выглядывал: его бледный луч ударял в низенькие окна почтальонского домика, обдавал матовым полусветом печальное лицо молодой матери, сталью отливал на ее черных волосах, полосой ложился на грязный пол и достигал заслонки и закоптелой печной стены. В домике тихо; только неугомонный сверчок трещит где-то: не то на окне, не то на дворе под окном, — только слышно, что близко куда-то забрался музыкант почтенный. По временам с улицы доносится собачий лай; по мостовой изредка стучат колеса.

Опять закачалась зыбка. Маша засыпает, а Петровна, глядя на нее, опять невеселую думу думает: «Да и с чего я пойду к господам? Опять в услужение — на смех людям! Найти местечко-то, поди, и здесь можно... Только какое! Трудно. Что у нас за город, — шут его знает!.. Анютка хотела забежать, как базарный день случится; порасскажет уж, как-то у них живут там, что Никифоровна? — все так же старая, поди, ворчит... Охо-хо! Не приехал ли?.. Если бы...» При этом «если бы» разные картинки — одна другой милее — стали рисоваться в ее воображении, как вдруг явилась под окном старушечья голова, повязанная в пестрый, клетчатый платок, и раздался дребезжащий голос:

— Петровна, ты дома?

Арина вздрогнула и обернулась.

— А, Васильевна! Что не видать давно, никак дорогу забыла? Зайди...

— Машутка-то спит у тебя, что ли?

— Спит. Да иди же, полно под окошком-то торчать!

— Некогда, матка ты моя! Дела, вишь, все... на минуту разве завернуть...

Голова исчезла в окне, и скоро после того в домик вошла Васильевна, старуха лет пятидесяти, с сморщенным, сухим лицом, с подслеповатыми глазками, в дырявой кацавейке, подтянутой платком.

— Ну, здорово! Как живете? — затараторила она, подходя к лавке, где сидела хозяйка. — Что поделываешь, голубка? Али отдыхаешь! Иду я, гляжу, — свету-то у вас не видать... Пришла ли, думаю... а може, сумерничают? Дай, думаю, посмотрю! Вот... Что лучинку-то не зажжешь? Где у ты она?

— На печке! — отвечала Петровна, сладко позевывая. — Ночь-то месячная такая... Сиж, да думаю все...

— Какого ляда тут думать-то! — возражала старуха, доставая лучину и зажигая ее у печурки. — Светец-то где?

— Ой, уж ты мне, хлопотунья, навязалась! А за тобой-то что?.. Не светец разве...

— Хлопотунья! — передразнивала Васильевна. — Неволя хлопочет, родная! Всю жизнь этак вот по своим да по чужим мыкаешься...

— Ну, что ты к своим-то летала? — спрашивала Васильевна, сметая рукавом кацавейки хлебные крошки с подоконника и сбирая их на ладонь.

— Как же! — ответила ей Арина Петровна. — У брата была, пуд муки дал-ржаной, да и говорит: ты, сестра, не думай, что я твой кормилец и поилец, не помышляй этого! Я, говорит, весь мир не напитаю... своих ртов довольно с нас: семья, говорит, тоже есть хочет...

— А, а! вишь ты! Ну, а сестра-то что? — перебила старуха.

— Та и ничего не дала. Пирогов только на дорогу напекла... Приискивай место, говорит, поскорее! (Сама бы приискивала!) Шляться-то, говорит, попусту нечего! В барском доме, говорит, столько времени жила, а что выжила, — хлебушка нет!.. А что у нас в девичьей выживешь, Васильевна? Сама ты посуди! Да что тут... язык-то чесать можно... все они... э-эх! — закончила Петровна и уныло поникла головой.

— И не говори, не говори, матка! — шепотом промолвила старуха. — Нынче всяк за себя! Другой хоть с голоду мри, — не помогут, нет! Мне что? Тепло мне, хорошо, сыта, одета, обута... То дивно: ну, добро бы были дальние какие, а то, гляди ты, родные, кровные, отказываются... Да уж это так! Нынче, поди ты, только о своем брюхе и заботы, а о душе ни-ни! Это я тебе, голубка, верно скажу, попомни мое слово, пожила уж я, знаю! Не с твое пожила... Ни на кого не надейся, не верь: своим лбом пробивайся... Так помысли себе, что ты в пустыню зашла, все сама про себя и хлопочи, — вот оно что!..

Хозяйка молчала и грустно посматривала в окно.

— Так, так-то! Ничего, значит, и не выходила? Мучки-то только вот... Плоховесоваты дела!.. Ну, прости, милочка! Надо бежать: дома-то никого не осталось. Гавриловна тоже уплелась...

Васильевна собралась было идти, но вдруг на пороге остановилась.

— Вот, вот, забыла совсем было, экая напасть, память ныне вовсе стало отшибать!.. У Ластиных полы моют каждую неделю, чистоту, выходит, наблюдают, — так вот тебе и работа! Сходи к ним, к Феклушке, кухарке-то, и замолви словечко: так и так, мол, поспособствуй насчет того... полов-то. Попроси хорошенько, так

она тебе и другую какую ни на есть работу предоставит: знакомство потому у них преобладающее, не с наше! А Феклуша, я тебе скажу, баба такая, что просто — ма-лина!

— Спасибо тебе, Васильевна, спасибо, матушка! Дай бог тебе здоровья... Просто ведь не поверишь, — тошнехонько приходит: крохами питаемся...

— Ну вот — и ступай завтра, сбегай!

Говоруны скрылась.

Не успела еще затвориться за нею скрипучая дверь, а Петровна уж раздумывала: «Полю мыть! Вот те и жизнь! Да и то еще упрасивай, умаливай... Дайте, мол, поработать, не откажите!.. Если бы отец с матерью живы были, не то бы и было...» Тут опять пришло ей в голову что-то такое несообразное: и ребячество ее, и грязные поросята, и пегашка с всклоченною гривой, и девичья, и старая Никифоровна, и темный сад жгутовский...

Немного дней после того прошло, а для Арины Петровны начались злоключения. Не раз уже тоска грызла ее сердце, не раз нападало на нее такое горе-горькое раздумье, такие гнетущие мысли посещали ее, что жизни была не рада вдова-почтальонша.

Закатилось лето; небо нахмурилось; то дождь моросил, то снег кружился. Не рада была Ариша «проказам матушки зимы». Впроголодь и впрохолодь жила мать с дочерью; приходилось подчас так туго, что Петровна ревмя редела. Не по миру ж идти, не промышлять же Христовым именем: людей стыдно, да и перед собой как-то совестно. Вот и идет она к Васильевне или Гавриловне попросит хлебушка и перебьется как-нибудь, дотянет до работы. Работы, впрочем, мало перепадало. К рукоделью она была не мастерица: взяла было она раз у одного купца белье шить, да и сама согрешила; еле-еле рубашку кое-как следила, да и за ту половину денег не получила, а нагоняй зато порядочный достался. С тех пор шить она уже не бралась; мастерила, правда, кое-что для Васильевны, да и то как придется, — через пень, через колоду. И лень то к тому же у нее была велика — не занимать стать. У самой платишко начало ветшать и отказывалось служить, а зонтик и перчатки все еще оставались целы: они одни, кажется, и лежали только в сундуке. Но несмотря на то, что она ходила в жалком тряпье, оборванной, неумытою, нечесаною,

а прозвище «модницы» не снимали с нее соседи. Она уж так «модницей» должна была и в могилу лечь. «Ну, какая же я модница, похоже ли на то! — думала с горечью Ариша. — Башмаков нет, одежонка вся разлезлась, и на улицу-то показаться неловко: везде заплаты, да и заплаты-то рваться стали!» Ходила она в церковь и богу молилась; искрення, горяча была ее молитва, и она ждала словно чуда, но чудо не являлось на выручку, и бедная вдова мыкалась изо дня в день, живя, как птица, не зная, что будет есть завтра, да и будет ли что есть?

Так в постоянной, непосильной борьбе прошло три года. Мрачное равнодушие стало заползать в душу Ариши; мало-помалу черствело сердце в житейских столкновениях, в разных дрязгах и невзгодах. Все более и более ожесточалась Ариша. Неизвестно, какова участь постигла бы Машу, если бы она в эту тяжелую пору явилась на свет божий... Не стали ли бы говорить, что у Петровны мертвый младенец родился?! Неизвестно. Но все могло быть, всего можно было ожидать от матери, у которой самые нежные чувствования стали при-тупляться.

Ариша сильно переменялась и с наружной стороны: свежесть улетучилась, ранние складки протянулись по лбу. Румяное личико пожелтело, похудели пухлые плечи, и высокая грудь попустилась; все прогорело, все истощилось. Из-под грязного, небрежно повязанного платка выбиваются нечесанные волосы; засаленная и дырявая кацавейка накинута на изношенное платьишко. Только вздернутый носик сохранился, да глазки задорные напоминали о прежней Арише, предмете мечтаний многих Васек, Алексашек и Ванюшек.

Лишь только заводился у Петровны лишний грош, она его тащила в кабак. Напрасно усовещевала ее Васильевна, напрасно ругали ее родные, — ничто не помогало: ей сильно понравилось топить злое горе в чаше зелена-вина.

А Машутка между тем подрастала.

С год времени еще прошло, — девочка стала лепетать. Фразы: «Мама, есть хочу! Мама, я озябла!» — было первое, что она ясно и чисто начала выговаривать. Мать в таких случаях отвечала обыкновенно очень лаконически: «Подождешь!» или «Не околеешь! или что-

нибудь подобное в этом же роде. Иногда за сим следовали тычки, пинки, подзатыльники, загровки, загорбки и иные приятные добавления. Машутка просила хлеба,— ей не давали; Машутка принималась реветь,— ее колотили. Неласково встречала ее жизнь, неприветливо. Ее «золотые дни» были пасмурны, черны, как черная nochенька непроглядная.

Рано начала она по воле матери промышлять по части воровства.

При безденежье, когда бывало холодно, мать говорила ей:

— Машутка, сбегай в соседний сарай, щепочек при-тащи.

— Увидят! — возражала она.

— А ты не попадайся, дурища! Зенки-то для чего? Украдче!.. — наставляла Петровна.

— Отдуют! — упорствовала Маша, заботясь, естественно, не столько о чужой собственности, сколько о своей спине.

— Тебе говорят: иди! Иди — и кончено! А не то таких надаю... — и мать делала выразительный жест и, должно быть, очень понятный для дочери, потому что последняя тотчас же обыкновенно после того скрывалась.

— Ах, мои батюшки! Вот еще неженка какая! — ворчала Арина Петровна.

Маша отправлялась на воровство. Осторожно пробравшись вдоль заборов и плетней и достигнув сарая, она оглядывалась по сторонам: нет ли кого близко. И если никого не случалось, она, как мышь, прокрадывалась в дровяной сарай, подлезая на брюхе в подворотню, и набирала там щепок и полен, зная, что матери нужны не одни щепки, помня, как раз мать отколотила ее, когда она принесла домой одних щепок. С тех пор она стала догадливее и поняла, что под словом «щепки» должно, собственно, разуместь «поленья». Маша уму-разуму наставлялась. Раза два-три была она словлена на месте преступления; ее били, а добычу, конечно, отнимали; дома мать тузила ее, якобы за шалость, за невнимание к своему делу, и в наказание морила беднягу голодом положенное время. Вследствие этих печальных казусов Маша наводрилась так, что в последнее время уж не попадалась в краже, обдeldывая

делишки искуснейшим манером. Уроки ходячей морали, житейской мудрости не проходили даром, — кулак и розга делали свое дело.

— Ступай в соседний огород, порви маленечко картошки! — скажет, бывало, мать.

Но дочь уже знала, что картофеля нужно не «маленечко», а много, — и притаскивала целую охапку.

— Ай да провор-девка! — одобрительно замечала Петровна, и Маша избавлялась от побоев, да еще сверх того ела за завтраком вареный картофель. Не роскошь ли? Как было не радоваться ребяческому сердцу!

Нередко, уже порядочно подвыпивши, мать посылала еще за вином.

— Студено! — заметит девочка.

— Не замерзнешь! Ишь отговаривается еще... У-у, подлая! Бежи!..

Машутка, причитая, бежит по улице, дрогнет от мороза в своем оборванном платье, зуба с зубом не сводит и, заплаканная, приносит матери угощение.

Однажды пьяная мать страшно испугала ее. Спала Маша на лавочке, крепко так спала, вдруг чувствует, что ее что-то давит, душит, что-то тяжелое налегло на нее; впросонках уж ей представляется нечистый с рожками, с хвостиком и со всеми прочими ужасными атрибутами сатанинского звания; ей уж мерещится домовый, который, по словам матери, невидимо присутствует в их домике, имея постоянное местопребывание в подполье, куда по зимам садятся куры; то она ожидает увидеть перед собою косматого медведя... с трепетом открывает глаза и видит: мать навалилась на нее и точно спит, храпит и тяжело дышит. Больно стало Машутке: потянулась она из-под матери и разбудила ее.

— И-их, дьяволенок! Чего ты вертишься-то? Лежи, покуда цела... — заворчала мать, и Машутку в то же время обдало запахом сивухи и чеснока.

Машутка притихла и не шевелилась, притая дыхание. Она уже знала, что мать, когда от нее так пахло, всегда больно била ее.

Петровна, раскутившись, иногда вопрошала дочь:

— Где у тебя, Машутка, отец? Скажи-ка!

— Ведь тятя помер, ты мне сама говорила, помнишь?

— Эх, ты... — тут Петровна вставляла неблагозвучное выражение, — помер! Как же, держи карман! Живешенек он, здоровешенек, в Петербурге погуливает!..

Но так как вопрос о тятё в то время еще нисколько не интересовал Машу, то она все касающееся его и пропускала мимо ушей с невозмутимым хладнокровием.

Игры не часто ей удавались: в холодную пору игрывала она в «большой комнате». Домик их был разделен на две части перегородкой, не доходившей четверти на две до потолка. В меньшем отделении находилась большая русская печь, занимавшая треть всего пространства, тут же помещался в углу поставец;¹ здесь готовилось кушанье, здесь они спали с матерью, грелись на печке по длинным зимним вечерам, словом — это была семейная комната. Другая — немного попросторнее — вмещала в себе стол, составлявший украшение и гордость домика почтальонского; на его крышке была нарисована какая-то рыба, а по сторонам ее — кусок хлеба и причудливой формы нож. Два стула, прислоненные к стене, стояли без употребления, ибо на них никто не садился из опасения разрушить эти древние вещи. В одном углу стояла скамейка. К предметам роскоши относилась также висевшая на стене закоптелая, перемаранная мухами картина, изображавшая героя, скачущего на зеленоногой лошади, с надписью: «Где колыбель его была, — днесь его могила!» Вот в этой-то «большой комнате» и игрывала Маша. Нагнет, бывало, прутиков и воображает себе людей и зверей разных, возится около стульев. Товарок на первых порах у нее не имелось: приходилось одной больше быть!.. Но только лишь разыграется Маша, — мать тут как тут.

— Полно тебе баловаться-то, маленькая! Пыль столбом подняла... Гляди-тко! — закричит Петровна, а под сердитый час хватит, пожалуй, Машу и за ухо или по уху, глядя по тому, как придется.

Летом Маше не в пример было привольнее. Иногда с раннего утра забиралась она в свой огород, под вишню — единственное деревцо, украшавшее необширный участок их земли. Лежит она в траве и смотрит: солнце еще не успело обсушить росы, ее чистые капли дрожат на листьях и лепестках цветов. Вон жук ползет

¹ Поставец — шкаф для посуды.

с темно-фиолетовою спинкой; муравей тащит песчинку, другой с ним встречается, и, остановившись на мгновение, оба продолжают путь далее; лист лопуха бросает на них тень. Божья коровка на вишневом цветке поместилась, не шевельнется. Пищит комар, летит муха, воробы перепархивают и неумолчно щебечут; близко где-то жужжит пчела... Маша лежит в траве, чутко прислушивается к совершающейся вокруг нее кипучей жизни, полной деятельности, рвет макушку¹, ест; зорко приглаживается Маша ко всему, — высоко в небе плывет легкое, как пар, белое облачко; любитесь Маша и полною грудью вдыхает свежий утренний воздух.

Или примется бегать по огороду, — и носится же она, носится по лужайке и по бороздам, только на гряды не взбегает, из боязни не помять бы чего-нибудь. Так она блаженствует, пока ее не кликнет мать.

— Полно, полно же, срамница! Домой пора! Весь день на улице, мужичка! — А Петровна — должно кстати заметить — намеревалась из Маши произвести барышню-«модницу», с тем чтобы она шла далее ее; только не знала Петровна, как без средств взяться за такое многотрудное дело.

Маша была всегда грязна, — об этом уж и говорить нечего; ее без грязи и вообразить было трудно. Но мать иногда примачивала ей волосы, причесывала, одевала ее в единственно порядочное ситцевое платье, розовое с белыми мушками, и любовалась... Она мечтала о будущем. К вечеру Машутка опять ходила в своем грязном тряпье, всклооченная, растерзанная.

Затем, когда Маше пошел шестой год, у них в домике появился новый жилец. Это был отставной солдат, плотный, крепкий старик, лет пятидесяти, высокого роста, худощавый, лысый, с густыми, щетинистыми усами, вечно торчавшими, как у таракана, с красно-сизым носом и хриплым басом. Его мутные глаза строго выглядывали из-под нависших, с проседью, бровей; ходил он всегда прямо, не сгибаясь, и чрезвычайно тяжелою поступью; даже ласковые слова говорил он таким жестким, сухим тоном, что все хорошее значение этих слов

¹ Макушка — клевер.

пропадало. Мрачный, угрюмый, молчаливо-суровый, по часту пьяный, буйный, он крепко запомнился Маше. Она не знала, чем жил старик, скопил ли он деньжонок малую толику, будучи еще на службе, или получал их за какую-нибудь неизвестную ей работу, но только он день-деньской бездельничал: пил, ел, спал да еще дрался и бранился. Петровна дорожила постояльцем, приносившим ей незначительный доход, покорялась его капризам, терпеливо выносила его буянство и вступила даже с ним в нежную связь, о чем Маша тогда еще не подозревала.

Солдат, как человек, всю жизнь выполнявший без возражений и отговорок все приказы начальства, очутившись на свободе, не мог, конечно, отказать себе в удовольствии поважничать, повластвовать в свою очередь над другими, помучить, потиранить.

В известном парадоксе: кто не научится повиноваться, тот не сумеет командовать — есть своя доля правды, чему Игнатич и может служить доказательством.

Прежде всего его дружбу с хозяйкой дома скрепила «живая Вакхова струя»¹. Солдат недолго играл роль скромного квартиранта, становясь мало-помалу полновластным хозяином почтальонского палаццо². С одной стороны, при таком ходе дел, положение матери с дочерью улучшилось против прежнего: они реже сидели голодом, менее мерзли в своей дырявой хатке; но в другом отношении их жизнь подернулась еще более мрачным колоритом: отставной солдат был груб с ними и деспотичен в их собственном уголке, хорошо понимая свое значение для бедной вдовы; круто приходилось от него хозяевам в иные минуты, когда военное сердечко, не сдерживаемое дисциплиной, порывалось разгуляться на всей вольной волюшке: пощады не давалось никому, все трепетало перед храбрым воином. Когда его большие серые глаза начинали чаще перебегать с одной вещи на другую, когда усы ходенем ходили из стороны в сторону, когда солдат принимался усиленно кашлять, — это означало: быть буре! Маша пряталась, куда

¹ Вакхова струя — вино. Вакх — бог плодородия, виноградарства и виноделия (*римск. миф.*).

² Палаццо — особняк, дворец (от *итал. palazzo*).

могла, и не выходила из своей засады до тех пор, пока не усмирался «лысый дядя», как она звала грозного постояльца. Петровна стойчески выносила ругательства и побои, а под пьяную руку, набравшись смелости, иногда и сама отвечала словом и кулаком взбешенному любовнику, — ну, тогда, конечно, ей было несравненно горше: синяками покрывалось все тело ее от головы до пят.

Петровна терпела. Жизнь не удалась, так нечего делать, — надо же ее как-нибудь отбывать.

Для Маши старый солдат был виновником многих печальных сцен.

— Экая понесла! — провозгласил однажды своим обычным хриплым голосом Игнатьич, вступая в домик и плотно прихлопывая дверь.

Сырой, холодный пар клубами ворвался в низенькую комнату и наполнил ее. На дворе действительно бушевала страшная выюга.

— Что! У вас и огонька-то уж нет, у бедных?.. Эй! — крикнул он, отряхивая снег с своей серой шинели и постукивая ногой об ногу.

— Лучины нет. Не насушила: утром-то не было... — отвечала с полатей Петровна.

— Нет, вишь! Да я вам свечи-то поставлять, что ли, взялся... черт бы вас драл! Что в башке-то у тебя набито? Тыфу, вы! — Игнатьич энергически плюнул и подошел к окну.

Хозяева уж чуяли, что постоялец «подгулявши», — и молчали.

— Да что же? В потемках, что ли, сидеть! Машутка, эй ты, стерва, лезь-ка сюда! — начал он опять немного погодя и заперебирал медными деньгами в своей кожаной мошне.

— Чего нужно? — спросила тихо девочка, ворочаясь на печке.

— Свечку нужно — вот что! Ступай, купи!.. — приказал Игнатьич и с сердцем бросил на стол несколько меди.

Маше очень не хотелось расставаться с теплою печкой: она ведь слышала, как воеет на дворе, как в трубе у них ветер шумит, и уж заранее дрожала от холода.

— Студено больно! — отозвалась она и все-таки полезла с теплого ложа, зная, что уж не отвертеться, не отомлится от неминуемого.

— Ну, ну, не рассуждать у меня, пашенок! — заревел Игнатич. — На печке-то бока, гляди, пролежишь!..

— Оболокись-то, Машутка, потеплее... надень хошь мою шубейку, только полы-то подбери, не заброди! — сказала мать.

К странностям человеческой природы должно отнести и то явление, что Петровна хотя сама не давала никогда ни в чем Маше пощады, была ее напропалую, но когда на дочь напускался ее «полюбовник», она с жаром заступалась за нее и нередко терпела за свое заступничество. Это тоже, должно полагать, ревность своего рода.

— Балуй больше! — проворчал солдат, как бы в ответ на предложение Петровны надеть ее шубенку.

Машутка, облачившись в длинную материнскую шубу, отправилась в лавку. Лишь только ступила она за ворота, ее охватил снежный вихрь и чуть не сбил с ног; не видать было света божьего, дорогу совсем замело. Ветер неистово ревел, облака снегу крутились в холодном воздухе. Едва подвигаясь вперед, утопая в вязком снегу по колено, пошла Маша наудачу. С ног рвало бедняжку, метель слепила глаза. Несколько раз сбивалась она с пути и попадала в сугробы; выбившись из сил, она хотела было воротиться назад, но побоялась: там сидит сердитый «лысый дядя», а он страшнее ночи, страшнее всякой непогоды. Слезы заволакивали глаза. Но вот близко и лавочка. Маша посмелее зашагала вперед, вдруг запнулась за свою длиннополую шубу и упала. Деньги выскользнули в снег. Не поднимаясь еще, она начала шарить вокруг себя, — только один грош нашла; рылась, рылась, наконец уж и руки стали холодеть, мороз зашипал пальцы. Маша с плачем поднялась на ноги и, не зная, что ей делать, в отчаянии оглядывалась по сторонам. Вьюга по-прежнему шумела вокруг нее, — ни зги не видно! Решилась и пошла в лавочку.

— Свечку пожалуйста! — сказала она дрожащим голосом и положила на прилавок уцелевший грош.

Лавочник, взявши монетку, повертел ее между пальцами и усмехнулся.

— В этакую цену свечей у нас не продают-с! — отвечал он, укусывая сахар и принимаясь за недопитый стакан чая.

«Что же мне теперь делать?» — спрашивала себя девочка, боясь даже и помыслить о том, как она без свечи

и без денег явится перед своим грозным судьей, перед неумолимым Игнатьичем.

— Нельзя ли... дайте! — попросила она еще раз лавочника, и за ней, — ей уж чудилось, — раздавался хриплый голос, глухое, знакомое Маше покашливание и из-под седых, нависших бровей блистали гневные, холодные глаза. — Дайте, пожалуйста! — повторила она, взглядывая на лавочника с умоляющим видом.

— Нет-с, нельзя!.. Да тут стоять нечего, приходите с деньгами, — а не то с богом, голубушка! Проваливай!

Приказчик вытолкнул ее из лавки и сердито захлопнул дверь. «Вишь, черт носит! Настудят только!» — проворчал он.

Этот лавочник считался за лучшего в той части города; о нем отзывались как о славном малом, о человеке честном, добром, не обвешивающем, не обмеривающем своих покупателей и терпеливо ожидающем уплаты долга; его любили соседи как весельчака, шутника, как умного собеседника, с которым не соскучишься и во весь день, а лучшею для него рекомендацией было то, что приходский священник, отец Василий, охотно водил с ним хлеб-соль. «Душа-человек», — говорили о нем.

«Домой, значит, идти!» — мелькало между тем в голове у Маши после того, как «душа-человек» не взял ее гроша и, как собачонку, вышвырнул ее на двор. «Страшно, а делать нечего: надо идти!»

Дрожа от холода и страха, вступила она в свой домик.

— Ну, подавай, выкладывай! — встретил ее Игнатьич.

Девочка терла рукавом глаза и не знала, как сказать о своей беде.

— Ну же! Что тебя тут леший!.. Подавилась, что ли? — повторил солдат голосом, в котором уже звучало раздражение и нескрываемая досада.

— Машутка, подавай же свечку-то, зажжем! — проговорила и мать, поднимаясь с полатей.

— Я, мама, деньгу в снегу потеряла... — начала наконец Маша, собравшись немного с духом. — Искала я ее, да...

— Что-о-о? — зарычал Игнатьич. — Потеряла-а-а? Ищи же, сволочь! Ищи ступай! У тебя всё игрушки... Проучу я вас!

— Где же теперь найдешь!.. Что ты, полоумный! — заговорила Петровна, сжалившись над иззябнувшей Машуткой. — Смотри-ка, на улице-то что деется!.. В такую непогоду добрый хозяин собаку на двор не выгонит...

— А я вас выгону! У меня лишние деньги про вас припасены, что ли? Я наживать стану, а ваша милость терять будете! Вон! Чтобы духу вашего здесь не было! — Пьяный солдат поднялся с лавки. — Где мои деньги? Ну! Эй ты, шенок! — заорал он.

— Побойся ты бога-то! Отдадим тебе деньги... Подавись ты ими!.. — начала было Петровна.

— Сама побойся лучше!.. Да что вы, в самом деле, шутить со мной, что ли, вздумали?! Согну я вас в бараний рог, да и плакать не прикажу!.. Убирайтесь! Налево кругом — марш!

Игнатьич схватил Петровну за ворот и толкнул к двери.

Машутка кинулась в сторону.

— А ты, дьяволенок, что вертишься! — завопил солдат во все горло, приходя в пафос, и швырнул Машу к стене.

Девочка не раскроила себе головы благодаря единственно только тому обстоятельству, что мать вовремя успела схватить ее за руку.

— Вон, ракалии! убью! Места живого не оставлю! — ревел солдат, не встречая сопротивления ни в чем своему безобразному буйству.

— Изверг, анафема, пьяница проклятый, аспид ты этакий! чтоб тебе!.. — вопила Петровна, прогнанная из своего домика. — Завтра же тебя не будет, окаянного! В полицию пойду! — голосила она уже в сенях и отправилась ночевать к Васильевне.

Назавтра, конечно, в полицию не было подаваемо никакой жалобы. Игнатьич, как ни в чем не бывало, оставался преспокойно полновластным хозяином, и все шло по-старому.

Таких историй, впрочем, было много: ими переполнены детские годы Машин.

— Машутка! — говаривал солдат, находясь в приятном настроении духа, — подай трубку!

Подает ему Машутка трубку.

— Хочешь, я тебе за это Москву покажу! — предлагает развеселившийся воин и, как водится, подымает ее

на воздух, стискивая ей уши в своих сильных, потных ручищах.

Девочка визжит.

— Ну, что! Хорошо небось? — смеется Игнатьич и принимается за трубку.

— А может, хочешь березкой постоять? — добавляет иной раз служивый.

Но тут Маша уж отнекивалась: детская стыдливость брала верх над желанием угодить «лысому дяде».

— Ведь хорошо, дурочка! Антирадно! — уговаривал Игнатьич, но Маша сопротивлялась, и раз, когда на дядю нашел злой стих и он вознамерился во что бы то ни стало поставить березкой упрямую девчонку, она так остервенилась, что до крови укусила у него руку; хотя ее за то больно отколотили, но она все-таки отстояла себя от нападений грубого Игнатьича.

Постоялец, больше потехи ради, принялся учить Машу грамоте. Дело, по обыкновению, началось от аз, буки, веи и дошло вплоть до ижицы; затем последовали мучительные склады: бла, бле, бли и так далее. Девочка была смышлена и, несмотря на варварский метод преподавания, который легко мог охладить и не ребяческое желание к учению, скоро стала читать. Книг в почтальонском домике не имелось, покупать их воспитатели считали излишнею роскошью, так Игнатьич и добыл от своего знакомого, служившего у квартального пристава, книжку под заглавием «Весталка Ирмензулова храма». Принялась Маша за «Весталку» и, конечно, ничего не поняла: фразы «отринутый, он, с пронзенным сердцем, обратил свои взоры на велелепие природы» или «они упоевались и радовались своей любви» и тому подобное сбивали ее решительно с толку.

— Что это такое, дядя, «с пронзенным сердцем»? — спрашивала она, когда Игнатьич переставал ругаться.

— Ну что же — с «пронзенным сердцем» так и означает! — объясняет он, смотря свысока на девочку, как бы желая сказать: «Глупа, мол, еще не доросла!»

Девочка не продолжала далее расспросов, видя, что из них образуется лишь никому не нужное переливание из пустого в порожнее.

На этом образование ее и закончилось.

Петровна между тем, становясь старше, начинала все более ворчать; ссоры между нею и постояльцем учаща-

лись. Солдат после перебранки с матерью напускался на дочь; на Маше же отводила душу и Петровна. Девочка, таким образом, служила подставкой, предметом, на котором срывали гнев обе ссорившиеся стороны.

Так, между минутными радостями, между постоянными страхами и колотушками, в слезах и нужде, протекало детство Маши до двенадцати лет.

Рано стал известен Маше соблазн, от которого так старательно хоронятся дети «благородных»; рано начала ее притягивать родная среда.

Сын купца Тирина, жившего по соседству с ними, при выезде из города, познакомился однажды с Машей на улице и был так любезен, что предложил ей пускаться с ним вместе змей; затем он посвятил ее в таинство игры в бабки, объяснив предварительно значение терминов: плоцка, жох и другие. Петруша все чаще и чаще стал приставать к ней. Купчик Маше не нравился: у него был такой огромный рот, такие глаза глупые, и хотя она брала от него пряники и засушенные конфетки, но скоро разошлась. Маленький купчик, играя с нею раз в сарае, принял ее как-то особенно щипать ее, что «почтальонской Маше» вовсе не понравилось.

— Полно, не балуй! — говорила она и увертывалась от неожиданных ласк; но так как Петруша баловать не переставал, а, напротив, увлекался все более и более, то она сочла за лучшее отретироваться подобру-поздорову из сарая.

С тех пор она всегда скрывалась, лишь только замечала издали высокую фуражку Петруши: она боялась его. Грязно было вокруг Маши!

Около этого же времени в незатейливой жизни девочки произошел переворот, который возымел сильное влияние на весь последующий ход дел.

Через дом от почтальонской лачуги стояли барские старинные хоромы, с примыкавшим к ним с одной стороны запущенным, тенистым садом, в который легко можно было пробраться из Машиного огорода. Девочка пользовалась таким приятным соседством и при всякой возможности навещала заглохшие куртины, продиралась меж густо разросшихся акаций, заглядывая в самые темные, скрытые уголки, словно ища чего-то; она тут бегала, играла, и невидимыми существами населяло ее воображение пустые аллеи.

В доме давно уже никто не жил; только в маленьком флигеле на дворе обитал старик, как лунь седой, — Фадеем Фадеем звали. Ставни в большом доме оставались постоянно закрытыми, и только раз или два в год Фадееч зачем-то отпирал дом и ненадолго входил в него. Серые деревянные колонны поросли мохом, на крыше вдоль карнизов пробивалась травка; высокие почерневшие трубы полуразвалились и представляли удобное местечко галкам для вития гнезд. Мрачно, сурово выглядывало это замкнутое здание, изображавшее собой грустную эмблему — человека оглохшего и слепого, заживо умершего, которого ничто человеческое уже не трогает, не тревожит; он стоит, как гробница, на распутии и напоминает собой, что и в этой жалкой развалине прежде жизнь кипела, бушевали страсти. Вокруг древней руины строились новые дома, ломались ветхие, прокладывались переулки, город рос. Двадцать лет перед тем он был за городом, а теперь очутился далеко уже в черте города. С усмешкой, казалось, посматривало на него, как на выходца с того света, молодое поколение домов. К этим древним хоромам как нельзя более подходил и древний человек — Фадееч.

Несколько раз Маша, побуждаемая непреодолимым детским любопытством, карабкалась по заржавевшей водосточной трубе и с трепетом заглядывала в щели ставень, но ничего не видала.

Однажды, когда она была занята своею смелою рекогносцировкой по стенам угрюмого замка, из флигеля показался Фадееч.

— Чего тут лазишь! Вот я вас! — хрипящим шепотом проворчал старик таким тоном, как будто бы ни к кому не обращался в особенности, а ворчал про себя, словно во сне.

Маша испугалась такого неожиданного явления седого призрака, соскочила с подоконника и опрометью бросилась бежать куда глаза глядят, только бы подальше от страшного деда. С того времени ее экспедиции прекратились, и большой дом как был, так и остался для нее таинственною загадкой, сфинксом, вечно торчавшим у нее перед глазами.

В саду, почти посредине его, лежал пруд, зацветший и подернутый тинной. Там и сям росли березы, липы, шли аллеями, стояли, группируясь в кучку. Три сосны

высились на берегу пруда, вечно юные, вечно зеленые, а под ними был сложен невысокий дерновый диванчик. Иногда, когда зной летнего дня делался нестерпим, Маша отваживалась купаться в этой луже, именуемой прудом. Оглянувшись по сторонам, прислушавшись к доносившимся до нее звукам, рассудив, что близкой опасности не предвидится, она скидала платишко и погружалась в воду; плескалась, представлялась плывущей, ныряла; тина и зелень приставали к телу, набивались в волосы, и Маша таким образом в виде русалки показывалась над водой. Шалунья только боялась, чтоб не пожаловал дедушка Фаденч. Помутив стоячую воду к неудовольствию лягушек и прочей водяной братии, Маша наконец вылезала на берег.

Петровна, замечая у Маши сырые волосы и догадываясь о причине этого явления, говаривала дочери:

— Смотри! Застанет уж тебя старик там когда-нибудь... Да и пусть бы застал баловницу! Отхлестал бы крапивой хорошенько, так не стала бы этак своевольничать...

— И знатное бы дело вышло! — добавлял, ухмыляясь, Игнатич.

Но Машу не утрашали такие зловещие речи.

Траву в саду не косили, и потому к концу лета она достигала ужасающих размеров, напоминая своею сочностью растительность стран тропических: почва была постоянно удобряема спадавшим ежегодно листом.

На дворе к флигелю Фаденча была прилажена конура, в которой лежал дряхлый пес Танкредко, или «Там-редко», как звали его соседи. Пес был стар и хил; никогда не лая, он подавал признаки жизни только тем, что иногда по ночам, в случае томительной бессонницы, жалобно выл, выставив свою большую, косматую морду в отверстие конуры. Иногда еще совершал он, вместе с Фаденчем, путешествие за ворота и вместе же с ним возвращался опять восвояси. Пес был так же угрюм и сумрачен, как и его старый хозяин. Фаденч не забывал своего друга и бросал ему кости, когда последние случались у него; Танкредко, с своей стороны, изредка навешал его. Все шло одно к одному: Фаденч — к старому дому, Танкредко гармонировал с Фаденчем. Обитатели той стороны города так привыкли видеть молчаливый замок, Фаденча и Танкредко, что, право, если бы явился иной привратник

с другою, более молодою собакой, то соседям было бы даже неловко.

Старики, казалось, понимали друг друга и мирно доживали конец дней своих, как вдруг неожиданно-негаданно, в одно действительно прекрасное майское утро, к таинственному замку подкатил запыленный тарантас и с громким криком «тпру!» остановился у высоких ворот. Из экипажа выбрался толстенный господин и, покачиваясь, отправился во двор искать там какого-нибудь живого существа. Отыскавши таковое существо в лице Фадеича, приехавшая особа объявила, что «дяденька Василий Дмитрич скончались и предоставили ему — своему племяннику — дом с принадлежащею к нему землей». Фадеич стоял без шапки и, казалось, только лишь хотел произнести многозначительное: «Ныне отпускаеши, владыко, раба твоего!..» И Танкредко при такой оказии выбрался из своей конуры и тоже смотрел на пришельца с выжидающим удивлением, словно чуя, что конец приближается их мирному царствованию.

Дом отперт, сняты ставни, открыты окна, и яркий свет, которого давно уже лишены были обширные комнаты, ворвался и разом озарил всю мерзость запустения нежилых покоев; вместе с ним сюда проникла и животворная теплота. Понаехала новая прислуга: пыль и паутина, все облегавшие толстым слоем, исчезли; стены, полы и потолки приняли более приличный вид.

Наконец явилось и семейство; воротилась жизнь в старые хоромы; молчаливый замок оживился; говор, беготня, шум и крики с утра до ночи; Танкредко уж совсем не показывается; Фадеича тоже редко видно. Новые люди явились, новым духом повеяло; отжившее, старое дало дорогу.

Таким-то образом в большом доме поселилось семейство Свержинских.

Семейство Свержинских было немного странно. Муж и жена Свержинские бранились ежедневно, грызлись на чем свет стоит, и военное положение было нормой их семейной жизни; если выпадал день без ругани, то все домашние как бы приходили в некоторое смущение, чувствуя, что вокруг них что-то неладно, чего-то недостает: завтра, всеконечно, пробел наполнялся; но таких тихих дней в году насчитывалось очень и очень мало. У Свержинских имелись три дочки, из которых старшей —

Варе — минуло пятнадцать, и сын, учившийся где-то в лицее. Маше удалось с ними сблизиться.

Узнав, что в запертый дом приехали маленькие барышни, и уловив однажды досужую минуту, отправилась Маша к саду, но войти в него, как то делывала прежде, теперь она не смела, но посматривала только сквозь забор. Там, на берегу пруда, у знакомых ей трех сосен, увидала она барышень, горячо о чем-то рассуждавших между собою. «Перелезть разве?» — думала Маша и не отваживалась на такой чересчур уж смелый подвиг. «Они добрые, — не отколотят!» — ободряла она сама себя, продолжая наблюдать за происходящим в саду. Барышни же между тем принялись весело бегать; их звонкий смех и говор как-то странно отдавался под сенью раскидистых толстых лип и берез, под которыми так давно не раздавались человеческие голоса: птичье пение оглашало только кущи заброшенного сада. Маше при этом пришла в голову славная мысль, и она мигом привела ее в исполнение: нарвать гороху у себя в огороде и явиться снова к соседскому плетню было делом пяти минут.

Когда барышни приблизились в ее сторону, она просунула голову перекладин забора и несмело предложила им гороху.

— Не хотите ли горошку? — сказала она, покраснев и немало смутившись.

Барышни были очень поражены подобным предложением, не догадываясь, что это делалось лишь в виде предложения к знакомству. Они до последней минуты даже и не замечали Маши.

— Благодарствуй, милая! — начала первая Варя и, подойдя ближе к забору, принялась с любопытством рассматривать девочку, протягивавшую ей ручонку с полевым горохом.

— Натё! — прошептала Маша и хотела было уже скрыться, как младшая из сестер обратилась к ней с вопросом:

— Ты здешняя? Ты, видно, недалеко отсюда живешь?

— Да, близенько. Вот тут!.. — и Маша указала рукой на видневшуюся между деревьев крышу своего покривившегося домишка и на разросшийся вишняк.

— Какая она славная! — заметила одна из сестер. — Позовемте ее сюда! Станем вместе играть!..

Сказано — сделано. Известно, что в таком возрасте ка-стовая раздельная черта не так еще резко существует, как между людьми взрослыми, познакомившимися с табелью о рангах и имевшими уже случай удостовериться, что предки их действительно когда-то в незапамятные времена Рим спасли. Через час плебейка уже бегала сломя голову со своими новыми товарищами, совершенно упуская из вида то важное обстоятельство, что она простая, а те «благородные». Она фамильярно хватала их за руку, когда приходилось ей ловить; без всякого уважения вырывалась она, когда ее ловили, словом — дети сошлись.

Мать хотя и выбрала ее: зачем она ходит в большой сад, утверждая, что те дети ей не пара, не товарищи, но в душе — в душе Петровна была очень довольна тем, что ее Маша, замухрышка, «почтальонская Машка», играет с дворянскими детьми. Забытые надежды о выделке из дочери «барышни» зашевелились с новою силой, и Петровна уже не колотила Машку, когда та для своих новых знакомых таскала из огорода по целым фартукам морковь, репу, брюкву и другие овощи, которых маленьким Свержинским не давали иначе, как в разных супах и соусах. Маша исправно занималась контрабандой, видя, что мать благосклонно взирает на это преступление, и за то получала ленточки, конфекты, порванные картинки, лоскутки, обрезки и даже куклы с проломленными насквозь головами, с выколотыми очами и с ногами неравной длины. При получении первой куклы Маша чуть не ошалела от радости.

Но старая барыня, проведавши как-то, что дочки ее изволят гулять с какою-то уличною потаскушкой, раз навсегда запретила им позволять Маше подходить к себе. Сестры протестовали, и младшая, Верочка, любимица матери, говорила так:

— Мамаша! Да она такая милая! Ведь если она ходит в дурном платье, — так что же... она бедная! А какая хорошенькая! Ну, вот точно и не простая, право! Беленькая такая... Я отдам ей, мамаша, свое старое серое платье, вот она и будет чисто ходить! Вы посмотрите на нее!..

— Просто прелесть, что за девочка! — добавили две другие сестры.

— Прелесть! — передразнила их татап. — Шалить вам не с кем, вот что! — и все-таки приказала предста-

вить себе Машу. Аудиенция была назначена на завтра утром.

Машу предупредили обо всем происшедшем и наказали ей, чтобы она непременно умылась и причесалась тщательнее; Петровна, конечно, также постаралась со своей стороны. Она еще не совсем позабыла, как заплетала барышне косу, и знала способ покрасивее завязать ленточку. Благодаря наряду Маша действительно выглядывала не почтальонскою дочкой, а совершенно «благородною». Нежная кожа, светленькие мягкие волосы, природная детская грация делали ее решительно кандидаткой на почетное звание «барышни», или «модницы», как выражалась Петровна.

Старой барыне девочка понравилась.

— Научите же ее вежливости, поправьте, выравняйте! Вон она какою букой смотрит... — сказала татап. — Это будет доброе дело! Все лучше, чем день-деньской бегать... А ты, девочка, как тебя... Маша... води себя прилично, будь скромна... Тебя барышни так полюбили!..

С тех пор Маше стало легче жить.

Игнатич успел уже достаточно к тому времени состариться и не мучил Машутку: его незадолго до того разбил паралич, правая рука еле-еле двигалась, а говорил он несвязно, пришепetyвая. Буйный солдат, наводивший страх, обратился в развалину...

— Машутка, трубку набей! — пробормочёт он, бывало, сидя, по обыкновению, у окна и глядя в него тупо, бессмысленно.

— Подождешь! А не то набьешь и сам! — заметит на это Петровна.

Игнатич уже забыл, что он только что перед тем спрашивал, и, урча, начинает покачивать седою головой. Хозяйка с ним обращается не по-старому, — грубо, жестко. Примется иногда старик прибирать что-нибудь из своего хлама, а Петровна и крикнет на него:

— Ну ты, лешего, подняло тут! Ишь развозился! Сидел бы на месте, а то мешает только, прости господи!

— Ну, ну, Петровна... — шепнет постоялец и спешит забраться в свой угол. В тоне его шепота слышна жалоба, тихая мольба о снисхождении, покорность. Нет уж у него тех слов, того грозного голоса, от которого трепетали мать с дочерью во время оно. Теперь роли переменились:

теперь уж *он* боится Петровны, жметя и ежится, едва заслышит ее резкий голос.

Мать тоже понемногу переменила свое обращение с Машей, готовясь увидеть ее в непродолжительном времени «модницей». Она даже как-то полюбила Машу, видя в ней все нужное и необходимое для того, чтобы осуществить свой идеал. К этому идеалу она сама стремилась, но неудачно; зато теперь с дочерью старалась сделать то, что не смогла совершить над самой собою. Под пьяную руку она плакивала, жалуясь то на то, что Машутка ее такая несчастливая, бесталанная, то — что Матушка скоро оставит ее, покинет навеки.

Маша вступила в новый период жизни.

Минувшее прошло невозвратно, а будущее начинало рисоваться, ярко озаренное веселым, розовым светом.

Она была очень недурна. Голубые глаза, то задумчивые, то внезапно загоравшиеся каким-то беспокойным, тревожным огоньком, смотрели прямо, искренно; продолговатый, с легким горбиком нос был безукоризненно прекрасен; немного толстые губки обличали страстную натуру; светлые, шелковистые, вьющиеся волосы составляли также немалое украшение этой хорошенькой головки. Роста она была среднего, хорошо развита, но худощава. Преждевременное утомление просвечивало на лице и во всей фигуре, в походке, в манерах, — это уж получила Маша в наследство от своего горького прошлого; как бы она, по-видимому, весело, беззаботно ни смеялась, а все-таки в ее смехе постоянно звучала грустная, унылая нотка. Но что было всего лучше в ней — это ее улыбка, тихая, нежная, бесконечно добрая: в ней сказывалась душа любящая, открытая для всего истинно хорошего, готовая на великие жертвы.

От Свержинских, в четыре года короткого знакомства, она услышала очень многое; удостоверилась, например, в том, что люди действительно воровство считают делом далеко не похвальным. Конечно, Маша знала это и прежде, знала потому, что мать, снаряжая ее на воровской промысел, всегда приговаривала: «Смотри же ты у меня, постреленок, украдче!» Значит, было что-нибудь дурное в том, что приказывали ей скрывать. Но тут философским образом, так сказать, узнала она от барышень, что воро-

вать грешно и стыдно, низко пользоваться добром, нажитым другими потом и кровью. Маша не любила воровать: ей часто за воровство доставалось от тех, в чью собственность запускала она руки, но воровала все-таки охотно, потому что голод, как говорится, не тетка, да и мать становилась к ней добрее после удачных похищений. Теперь же ей насаждали множество ужасных вещей: грешно обижать других, говорили ей; за это бог и люди карают: на земле солдаты возьмут, в тюрьму посадят, на каторгу ушлют, а на том свете духи нечистые в ад затащат, огнем будут палить, и уж каторга там будет вечная... «Худо быть вором! не надо быть вором!» — твердили ей. Но, впрочем, Маша не раз ставила барышень в тупик своими простыми, высказанными от сердца возражениями.

— Да как же? Есть хочется... — говорила она.

— Терпеть нужно! — объясняли ей барышни, даже и по слухам не знавшие о мучениях голода.

Маша задумчиво посматривала на них и размышляла; глупая девочка не могла взять в толк того: как можно терпеть, не взять кусочек хлеба, лежащий плохо, когда есть хочется до тошноты. Голова ее не переваривала таких мудреных положений.

Потом еще, между прочим, Маша узнала, что надо учиться; для того, чтобы сделаться умною — образование нужно.

— Я, значит, дурочка? — спрашивала она.

— Нет, не дурочка, — отвечали ей с запинкой, — а просто неученая...

— Зачем же нужно быть ученой? — спрашивала она опять.

— Ах, какая ты смешная, право! — говорили сестры. — Как зачем?! Все учатся нынче, даже и простые... учатся для того, чтобы знать!

Барышни, говорившие только с чужих слов, не могли далее проводить своих пояснений и не могли сказать, для чего же надо знать, — они еще и сами этого не смыслили, да не знаю, смыслят ли сколько-нибудь и теперь, когда они стали уже почтенными матерями семейств!.. И своим деткам, вероятно, они будут повторять то же самое: «Надо учиться для того, чтобы знать!» — и баста!..

Старшая из сестер, Варя, начала заниматься с Машей из священной истории, но тут стали выходить недоразумения между наставницей и ученицей; наставнице казалось,

что она очень хорошо объясняет все, а ученица между тем не понимала ни книги, варварски составленной, ни Вари, говорившей с ней по книге; затем, ученица была кропотлива, хотела все по ниточке разбирать, а наставница, напротив, требовала, чтобы Маша учила уроки так же, как учила она их сама прежде, когда еще была-жила у них гувернантка, любезная *madame* Фант, то есть затверживала бы их и потом отвечала без запинок.

— Ты что все спрашиваешь? — говорила ей Варя. — Так не учатся... Вот, что в книге есть, и выучи — и довольно с тебя!..

— Да вон тут «нравственный закон» сказано... — настаивала Маша, тыча пальцем в катехизис.

— Ах, ну тебя, Маша... отвяжись, пожалуйста! Тебе что ни говори, а ты все свое! Я ведь уж объясняла тебе, кажется, что «нравственный закон» это... такое чувство в нас... Ты просто только поболтать любишь! — Барышня надувала губки.

Скоро Варе прискучило серьезное занятие с серьезной девочкой, и она бросила свою ученицу на произвол судеб. Маша брала у них кое-какие детские книжонки и читала про себя дома; за последнее занятие, впрочем, мать на нее часто нападала. В это же время Маша научилась писать. «Я такая уж, видно, непонятная и есть, — раздумывала она иногда. — И учить-то меня никто не берет!»

Старая барыня, сидевшая весь день с утра до вечера на мягкой кушетке, сложа руки или занимаясь каким-нибудь бездельем, никому не нужным, не раз читала Маше весьма поучительные и трогательные наставления о том, что люди должны трудиться, работать, что лень — мать всяких пороков. Маша слушала и только удивлялась, что барыня сама предается без всякого отвращения тому гнусному пороку, который так величественно громит, облокотясь на вышитую подушку и подобрав под себя ноги. Спросить же о кажущемся противоречии между словом и делом Маша не осмеливалась: ее ведь барышни старались выправить, сдернуть с нее грубую кору и приубрать все ее мужиковатые замашки. Ее научили кланяться, приседать, благодарить, просить, одним словом, на нее навели тот лоск, который и поныне в некоторой степени заменяет образование.

Как бы то ни было, но Маша выправилась так, что *madame* Свержинская, глядя на нее, не раз думала про

себя: «Вот на свете какие странности бывают! Из простого звания девочка, а как хороша! Просто чуд!..»

Варя Свержинская много также говорила Маше о ловких, красивых кавалерах, которых она встречала в обществе, передавала даже ей некоторые из своих разговоров, но «почтальонской Маше» многое в светских отношениях женщины к мужчине казалось диким, неестественным; в этих отношениях ей казалась весьма странною фальшивая половая вражда.

— Представь, Маша! Я вчера на него не обращала ни малейшего внимания! — прищуривая глазки, говорила раз Варя после одного вечера. — Он страшно сердился, был такой надутый, точно муху проглотил!.. А мне-то как было весело, если бы ты знала... Смеялась я, смеялась! Мне, впрочем, потом и самой-то хотелось с ним поговорить, да нет, выдержала!.. Помучила же я беднягу!..

— Но ведь вы же любите его? — возражала Маша. — Вам было жаль его... Зачем же вы мучили?.. Не понимаю.

— Ах, милочка! Надо же пококетничать! Мужчин всегда нужно держать так, чтобы они ухаживали за нами... Не спускать им!..

Маше казались просто нелепостью подобные обычаи, и она нередко от души жалела Вареньку, видя, что мучения ее кавалера не всегда проходят ей даром; жестокосердая мучительница сама не раз, уткнувшись в подушку, горько плакала, кусала кончик батистового платочка и в позднем раскаянии проклинала кокетство, испортившее ей прошлый вечер. «Что это они какие смешные, — думала Маша по простоте, и добавляла: — и жалкие!»

В одно летнее «после обеда» сидела Маша в большом саду, на траве, рассуждая с барышнями о предстоящем загородном гулянье, на которое из Тиноводска выползали обыкновенно все: и стар, и мал, и бедняк с костылем, и богач в коляске.

— А, Serge! Ты встал уже! Ах, Маша, мы и забыли совсем... вот наш брат! — вскрикнула вдруг одна из сестер.

— Он сегодня утром только что приехал! — добавила другая.

Маша подняла голову.

Перед ними стоял высокого роста молодой человек приятной наружности, с блестящими глазками и красивыми усами.

Не поднимаясь с травы, Маша поклонилась ему; он молча ответил тем же.

— Выспался! — сказал Serge, потягиваясь и смахивая с рукава своего пиджака пушинку. — А вы, шалуны, о чем тут трактуете? — и красивый Serge прилег в тени липы, приняв небрежно-живописную позу.

— Ах, противный! «Шалуны!» А сам-то, сам-то! — заговорила Варя и кинула ему в шляпу маленький букет цветов.

Маша почему-то покраснела и, смотря на тинистую поверхность пруда, рвала машинально травку и отбрасывала ее прочь: она еще никогда не бывала в обществе подобного господина и думала: «Я ничего не сумею и сказать-то с ним! Слова не молвить мне! Как это, право, другие говорят так хорошо...»

— Зачем цветы рвать! Кому они нужны? — сказал Serge, поглядывая то на букет, то на девушек. — Вот так без пользы и пропадут теперь... Э-эх!

— Какой же тебе еще пользы нужно от цветов? Потешный какой! — возразила ему старшая сестра.

— Вот уж их сосили бы вместе с травой, и был бы скотине корм! — внушительно проговорил Serge. — Все должно пользу приносить...

При последних словах ученого брата Варя расхохоталась и, наклонившись к Маше, шепнула что-то; Маша хотела было улыбнуться, но смешалась и покраснела, заметив, что глаза оратора устремились в ту минуту на нее.

— У меня был товарищ, — продолжал Serge, не обращая словно внимания на перешептывание Вари, — так тот изо всего сумел извлекать пользу. Папиросный пепел он сбирал в коробочку и употреблял его вместо песку... Вот как! Ну, вон к чему рвете вы траву? — обратился он к Маше. — Зачем лишаете жизни растение?

Маша улыбнулась и опять покраснела: она хотела было сказать ему, что «и людей убивают, так что же значит какая-нибудь травка!», но не решилась вступить на этот раз в диспут и смолчала.

«Глупа!» — решил Serge, глядя на нее.

— Ах ты, брюзга, брюзга! — ввернула Верочка.

— Какие у вас чистенькие, беленькие рукавчики, что за прелесть! И видно, что барышня... — иронически заговорил ей в ответ брат и потянул ее за руку.

Робко оглядываясь на свое очень скромное платице

и на короткие рукава, Маша, не поняв смысла слов молодого человека, подтрунивавшего над наружною порядочностью Верочки, почувствовала себя неловко и потому скоро скрылась, отговорившись тем, что ей непременно нужно домой. Нужды до дома у ней не было ни малейшей, и она горько раскаивалась, что ушла из сада, проклинала свою застенчивость, лишившую ее удовольствия, и дала себе слово: вперед никогда не бегать, чтобы потом не упрекать себя.

Общество большого дома оживилось с приездом молодого Свержинского: каждый вечер в саду поднималась беготня; крик, говор не умолкал до поздней ночи. Бегали, играли в горелки, пели, танцевали, декламировали стихи — и все это делалось под открытым ясным небом, сиявшим в лучах зари. В саду же Serge устроил между деревьями перекладкины и хотел давать сестрам уроки гимнастики; но так как в первый же день Верочка чуть не сломала себе шею, то татап и запретила барышням заниматься лазаньем и прыганьем.

Маша еще дичилась Serge'a.

Раз принес он ящик конфект и, попотчивавши сестер, подошел к Маше.

— Не хотите ли полакомиться? — спросил он и наклонился к ней с ящиком.

— Благодарю вас! — проговорила она едва слышно и наклонилась, чтобы скрыть досадный румянец, помимо ее воли разливавшийся по ее лицу.

— Вот вам! — и Serge высыпал ей в передник конфекты.

Лицо Маши запылало пуще прежнего.

— Благодарю! — проговорила она, не решаясь посмотреть прямо на Serge'a.

— Что же вы уткнулись? Как точно боитесь кого? — спросил юноша, смотря с улыбкой на опущенную голову Маши.

— Она стыдится тебя! — пояснила некстати Варя.

— Чего же меня стыдиться! Машенька, посмотрите же на меня!

А Машенька на ту пору желала бы провалиться сквозь землю или бы по крайней мере очутиться в своем старом домишке. «И ведь точно спрашивают эту Вареньку! Ну к чему она сунулась! Что мне стыдиться ее брата?» — роп-

тала она; но наконец, собравшись мало-мальски с духом, подняла голову. Робкая, сдержанная улыбка бродила по трепещущим, полураскрытым губам, глаза сами собой опускались, а лицо горело.

— Что с вами? Как вы покраснели! — спрашивал неотвязный Serge, видимо любуясь смущением Маши.

Тут он заметил, что она очень недурна, и особенно в глаза ему бросилась милая, красноречивая улыбка.

«Забитая, бедная девочка!» — подумал Serge.

— Жарко! — отвечала Маша. Действительно, ей было ужасно жарко: бедная едва переводила дух.

Эта пустынькая, в сущности, сцена возымела свое действие.

Ночью у Маши поднялись расспросы: «Что это со мной делается? Я как точно с ума схожу! Что подумают барышни обо мне! А он! Зачем он смотрел на меня так пристально, будто никогда не видал?!»

Молодая головка шла кругом: Маше с разными вариациями представлялась сцена в саду; ей все слышался ласковый голос: «Машенька, посмотрите же на меня!» Пыталась было она не ходить к Свержинским, но через два длинных, скучных дня не выдержала и пришла в больший дом. Какое-то неясное брожение началось в душе Маши: смутное желание, робость, страх, неизвестность, отрадное томление... Поговорить было не с кем, да и кто же поймет ее, кто растолкует, что с ней происходит, когда она и сама-то себя еще дурно понимает.

— Скучно, мама, что-то! — говорила она иногда, когда Свержинских не было дома и она оставалась одна с матерью.

— Что за скучно! Без дела, — оттого и скучно! — отвечала Петровна, не вдаваясь в дальнейшие рассуждения.

В самом деле, у Маши как-то работа не клеилась, ей все как бы лишь в сад убежать. Увидит она молодого Свержинского — ей хотелось бы спрятаться от него, уйдет он — Маше хотелось, чтобы он поскорей возвратился. Бедная девушка немилосердно бранила себя, а путного все-таки ничего не выходило; ей просто хотелось бы постоянно быть с Свержинским, и в то же время при мысли о нем ей становилось страшно, совестно...

Serge между тем был очень ласков и хорош с Машей: он весело шутил с нею, говорил так дружески, крепко жал

руку при свидании, был так прост в обхождении, «по-приятельски», как говаривал он, и девушка понемногу стала привыкать к нему. Serge предложил Маше заняться с ней по части образования, на что Маша вполне и согласилась: но жар лицеиста скоро остыл, и он, подобно сестре, в самом начале прекратил доброе дело, отозвавшись тем, что теперь лето, такое чудное время, и надо гулять, а книги в сторону до осени... Разговоры между ними обыкновенно завязывались на самые обыденные темы: Маша еще не подозревала, что у молодежи есть в запасе свои привилегированные разговоры «о чувствах», а Serge не решался толковать с ней об этой тонкой материи, боясь, что собеседница не уразумеет его лицейского красноречия.

Раз, впрочем, между слов он спросил ее:

— Машенька, вы любите кого-нибудь?

— Нет, никого!.. — отвечала девушка.

— Неужели? А матушку свою?

— Да, матушку... люблю, конечно!

— А еще кого?

Маша подумала.

— Никого, — промолвила она решительно и спокойно взглянула на Serge'a.

— Та-а-ак! — протянул тот и улыбнулся.

На этот раз разговор как-то замялся и не пошел далее; но Маша перестала уже к тому времени дичиться молодого человека и подробно рассказывала ему, как она ходит за своей курицей, как рано нынче Пеструшка начала у нее нестись, как надоел ей Игнатийич своим постоянным мычаньем, как они жили прежде с матерью плохо и как немного получше живут в настоящее время. Serge слушал не без интереса простую, безыскусственную повесть тяжелой, трудовой и грязной жизни; ему тем более приятно было слушать, что рассказчицей была хорошенькая Маша, возбуждавшая в нем симпатию.

Так шли дела до тех пор, пока однажды Верочка не притащила в сад котенка; позабавившись им, она скрылась куда-то, оставив бусого Ваську на попечение Маше. Та принялась его ласкать; гладила по мягкой, полосатой спинке, чесала за ухом, а котенок, развалившись на травке, видимо наслаждался, будучи вполне доволен своим настоящим.

— Посмотрите: какой Васька миленький! — наклонив-

шись близко к котенку, сказала она Serge'y, лежавшему тут же неподалеку.

Serge подошел и тоже начал любоваться Васькой, причем приблизил к нему свое лицо; расстояние между Serge'ем и Машей, таким образом, сделалось весьма незначительно. Котенок, прищурившись, лукаво посматривал на них, слегка шевеля хвостом.

— Ох, какой славный кошурка! — заговорил Serge. — Ох, какой!.. — и вдруг поцеловал Машу.

Та вздрогнула, вскочила и опрометью бросилась бежать. Котенок также быстро поднялся на лапки и, распушив хвост, принял оборонительное положение, а Serge обдернул галстук, взбил свои курчавые волосы и, не обращая уж более никакого внимания на «славного кошурку», принялся размышлять о том: как мила Маша, как симпатична она, какие у нее маленькие губки и что может произойти вследствие сцены, которой немым свидетелем пришлось быть бусому Ваське.

Вечеру того дня Маша плакала, сидя под вишней в своем огороде; но слезы были как-то ей приятны, сладки, то были слезы, выжатые не горем, не неприятностью с матерью, не грубостью пьяного Игнатия, то были легкие, чудесные слезы. Так плачут при свидании с любимым человеком, когда вдали виднеется длинный ряд безоблачных, счастливых дней. Сквозь слезы Маше все рисовалось в очаровательном, радужном свете; блестящая даль сверкала, манила её, суля радости, каких она еще не испытывала, наслаждения, которых пока и измерить не могла, ибо позади ее ей не представлялось ничего подобного. Поцелуй решил ее участь, заставив впервые так сильно всколыхнуться ее молодую грудь; поцелуй был для нее вестником чего-то неизвестного, отрадного, был предтечей светлого грядущего... Губы ее невольно дрожали, лишь только припоминала она «миленького Ваську»... Маша чувствовала, что с ней происходит что-то новое, неведомое...

Долго, долго этот первый, чудодейственный поцелуй горел на ее губах.

Вскоре после того Serge, улучив удобную минуту, остался опять наедине с Машей и поцеловал ее. Девушка хотела было вырваться, но... но вдруг сама прильнула к нему со всем пылом пробудившейся страсти и так крепко припала к его плечу... Они в ту пору сидели

под соснами на дерновом диванчике... Июльский вечер догорал...

— Теперь ты не боишься меня? — спрашивал он, одною рукой сжимая руку Машы, а другою — приподнимая упавшие ей на лицо волосы.

— Нет! — отвечала девушка и желала бы остаться так сидеть навсегда со своим милым.

— А прежде боялась?

— Да... и сама не знаю отчего!

— Вероятно, я тогда был очень страшен, а теперь...

— Господи! Какой же вы красавец!.. Нет, знаешь, я все думала, что ты смеешься надо мною... Я не верила, что ты можешь меня любить, меня, такую простую, неученую...

— Машурочка, я зацелую тебя! — перебил ее Serge.

И жарки были их робкие объятия, горячи и трепетны поцелуи... А вокруг них березы старые с липами шушукались, теплый ветерок проносился изредка, словно чье-то сдержанное дыхание; их обдавало ароматом... Над ними в темной синеве загорались звезды...

— Хорошо тебе? — спрашивал Serge, привлекая Машу к себе на грудь.

— Хорошо! — отвечала она и, ласкаясь, наклонила к нему свою головку.

— Целуй же, целуй меня! — заговорил опять с нежностью молодой человек.

— Ах, постой!.. Смотрите! — вскрикнула она вполголоса. — Кто-то идет сюда! — и, показав на противоположный берег пруда, скрылась за березами.

Там действительно в тени аллеи шел мерною поступью Фадееч в сопровождении Танкредки. Оба шли тихо, опустив голову. Фадееч имел обыкновение каждый вечер обходить сад дозором, а потом еще колотить в доску, чтобы дать знать мелким воришкам, охотникам до барских яблоков и вишен, что он еще не спит и чтобы они подождали отправляться на свой промысел, пока он не уgomонится. Вот старик со своим Танкредком показался наконец из тени и явился на открытой лужайке, озаренной серебристым лунным светом. Проходя мимо Serge'а, дозорщики остановились.

— Гулять изволите, Сергей Федорыч! — прошамкал старик, снимая шапку.

— Да, старина, дышу вашим воздухом. В Петербурге-то мы ведь пыль глотаем, не то что здесь! здесь у вас благодать!

— Хорошо здесь! — заметил Фадеич и отправился далее; Танкредко брел за ним, слегка помахивая опущенным хвостом, молодой Свержинский посмотрел им вслед.

— Вот парочка-то! Древность! Впрочем, они Машу у меня испугали, черт бы их драл! Где-то она? А-у-у! — крикнул он не громко, углубляясь в чашу. Отзыва не было.

Затем Serge принялся мечтать... Усердно строил он карточные домики и любовался ими...

В то время как он, бродя по длинным, тенистым аллеям своего сада, изо всей мочи уверял себя, что он любит Машу, что привязанность его и крепка и сильна, что с Машей он может устроить себе земной рай, Маша кормила ужином мать и Игнатъича.

— Сама-то что же ты не притрогиваешься? — спросила мать, видя, что Маша ничего не ест.

— Не хочется что-то! — отвечала девушка: ей было не до того; у ней из ума не выходили тихие речи, жгучие объятия и поцелуи... Ей все мерещился он.

Игнатъич мычал что-то себе под нос и как-то странно, взглядывал исподлобья своими тусклыми, оловянными глазами.

Скоро и в почтальонском домике водворилась тишина, — все уснуло.

Не спала только одна Маша.

Сережа Свержинский в последнее время своего пребывания в лицее успел понахвататься кое-каких хороших идей, известных вообще под именем «новых», и по силе возможности рисовался ими, прохаживаясь насчет красных словцов. Слыша толки о гуманности, о равноправности гражданской и о тому подобных прекрасных вещах, он почел долгом говорить прислуге «вы» и не гнущься перед высшими; тем не менее он гневался, если сторож по недосугу заставлял его ждать пальто, и любезно раскланивался с профессорами, когда время подходило к экзаменам. Будучи потомственным дворя-

нином, он все-таки утверждал, что честный труд единственное позволительное средство к жизни, и язвительно подтрунивал над тем, «как жили при Аскольде¹ наши деды и отцы»; но в душе он очень жалел, что роковое 19-е февраля² вырвало у него столько крепостных душ: он бы не прочь был пожить баричем... Декорации переменялись, — и вот он с напущенным жаром, скрепя сердце начинает проповедывать по гостиним своих знакомых о труде, о хороших людях настоящего, о безобразиях прошлого времени, о кипучей деятельности на пользу народа, о тунеядстве и растрате старого поколения, к которому, как назло, ему не удалось пристать, и, с завистью оглядываясь назад, клеймит позором издохшее крепостничество, павшее царство тирании. В приятельских беседах Сережа бывал, однако, лаконичен. «Отрежу, да и баста!» — говаривал он, когда ему замечали, почему он не вступает в спор. Доверия к нему товарищи не питали: как люди более или менее недостаточные, они с подозрением выслушивали его гуманные слова и думали: «Ладно! знаем мы вас, друзей народа! Все это воплощение в жизни басни о лисице и виноградке...» И женский вопрос Сережа не прошел мимо. «Пора подать руку женщине!» — уверял он своих собратов по науке и по вранью — господ, себе подобных; собраты соглашались, что действительно пора поддерживать женщин, и в самом деле поддерживали их весьма грациозно в мазурке и вальсе...

Свержинский был ультралиберал, — это все знали. Раз, говоря по душе, он высказал такую вещь, что грешно воров наказывать. Но не все знали, как он с бедной прачки содрал десять рублей за две потерянные ею сорочки...

Старики на либерала Свержинского хмурились, молодежь звала его «красненьким», барышни именовали «нашим Serge'ем», а люди, видевшие далее своего носа, величали его просто «ветряною мельницей».

Кончив курс и приехав домой, Сережа начал прежде всего вести пропаганду в своей семье. «Дрожжей положить надо!» — говорил он. Смело распространялся он

¹ Аскольд — полулегендарный киевский князь IX в.

² 19-го февраля 1861 года был опубликован царский манифест об отмене крепостного права в России.

о Фейербахе¹, Мошотте² и Бюхнере³, заочно разбитом Юркевичем; проповедывал о каких-то радужных надеждах, о всеобщей аркадской эмансипации, об умиротворении всего мира, совал без толку естественными науками, с которыми познакомился лишь вскользь, и с ожесточением катал стихами из Герцена и Огарева.

Матан, слушая трескучие фразы, томно закатывала глаза в потолок и нюхала спирт из флакона; рара, глядя на нее и на сына, ухмылялся и охал; а *chères soeurs*⁴ слушали выпуча глаза и, ничего не понимая, решали, что Serge у них «преумный».

По городу шли слухи весьма разнообразного свойства: мужчины поговаривали о Свержинском, что он мальчишка бедовый и, пока не перебесится, ходу ему давать не след; они, конечно, трепетали не за общественную безопасность, а просто подумывали: как бы этот молодчик сдуру не помешал им пользоваться безгрешными доходами. «Конечно, — рассуждали они за преферансом, — он ни в чем не замечен, да все, знаете, оно лучше, как поприглядится, поостепенится... а то что хорошего!.. На стену человек лезет... Того и гляди себе и другим лоб разобьет...»

Дамы с претензиями на молодость охотно приглашали его на вечера и вступали с ним в душеспасительные разговоры о том, как много зла на свете, каким, например, тяжелым гнетом ложится на женщину семья в современном ее устройстве, а в антрактах дамочки делали глазки... Дамы-матери советовали дочерям поддакивать молодому Свержинскому до последней крайности: у него дома в городе, именье весьма почтенное, да в перспективе прекрасная карьера. Дочки вместо журналов «Мод», вместо «Вазы» и «Сына отечества» заставляли отцов выписывать для них другие журналы, попорядочнее.

Таковую кутерьму произвел monsieur Свержинский своим приездом в безмятежном Тиноводске. Дела при-

¹ Фейербах Людвиг-Андреас (1804—1872) — выдающийся немецкий философ-материалист.

² Мошотт Яков (1822—1893) — физиолог, вульгарный материалист.

³ Бюхнер Фридрих-Карл-Христиан-Людвиг (1824—1899) — немецкий физиолог, вульгарный материалист.

⁴ милые сестры (франц.).

няли такой гибельный оборот, что кумушки, соболезновавшие об общественной нравственности, решили все в один голос, что растление пошло чрезвычайное, все священное в грязь втоптанно, все, чем мир с испокон века держится, поколеблено. Судя по их речам, можно было подумать, что в сравнении с распушенностью нравов тиноводского общества развратный век Людовика XIV не что иное, как квакерская¹ пирушка...

На Машу Serge с первого раза и внимания не обратил, но уже потом, как читатель видел, девушка начала ему нравиться. Сережа был молод и принялся строить домики из карт. И не диво: этим подчас и старцы любят забавляться! Свержинскому во что бы то ни стало захотелось вообразить себя героем, — и вот он уже герой в полном облачении и всеоружии бранном; мечом картонным он приготовился рубить предрассудки, эту многоголовую гидру. Отрицать касты ему теперь уже было нипочем: от дворянских привилегий ему осталось так немного, что нечего было жалеть. Взять Машу из невежества, из нищеты, из-под власти грубой, пьяной матери, из среды, разъедающей все доброе, и поставить ее в лучшее положение, образовать, сделать полезным членом общества, привязать ее к себе и начать с нею жить... Сам-то, ему казалось, он уже достаточно привязался, полюбил ее, — ведь человек, что захочет, все может представить. Хорошая деятельность, толковая, широкая и, конечно, кипучая, «разумная подруга честного мужа — борца за независимость с рабством обыденным и тупоумьем глупца»... Вот каковы были домики из карт, построенные на досуге Сережей Свержинским. Ему они очень нравились... Выполнить просто: силы есть, а денег судьба подаст...

Вот о чем он так крепко задумался, ходя поздно вечером по тенистым аллеям своего старинного сада.

Наступила темная осенняя ночь. Сад глухо шумит; с деревьев спадают капли дождя; черные облака нависли над землею...

Свержинский сидит с Машей опять под тремя соснами и тихо говорит ей:

¹ Квакеры — христианская протестантская секта, возникшая в Англии в середине XVII в. Квакеры выступали против роскоши и расточительства.

— Маша, хочешь со мной ехать в Петербург? Славно заживем: там не то, что здесь, в захолустье. Там простор, свет, там настоящая жизнь! Ведь ты согласишься ради меня оторваться от этой гнили, от этой грязи, в которую кинута ты? Ты не побоишься идти со мной и на край света? Не правда ли?

— Как? В Петербург? С тобой? — переспросила в изумлении девушка, не веря ушам. — Да разве можно?.. Чем же мы жить будем? Да и к чему ты возьмешь меня к себе? — Маша об этом еще никогда не думала; предложение ее поразило, и она с жадным любопытством ожидала от Serge'a ответов и разъяснений.

— Я люблю тебя, этого уж, кажется, довольно. Для счастья довольно одной любви: чем меньше будем требовать, тем лучше! А как жить, спрашиваешь ты? С голоду не помрем: я стану служить, и тебе дело найду; оба примемся работать, трудиться, сами добывать хлеб и заживем припеваючи... Нас никто не упрекнет!.. У меня в Петербурге есть хорошие знакомые... Одними уроками или переводами можно деньгу зашибить.

— Да! — прервала Маша. — Но ведь я-то ничего не знаю. Что я буду делать? Шью плохо, вышивать почти не умею вовсе, учить детей, как ты, тоже не могу: сама еле маракую... Нет, голубчик, поезжай уж ты один! Где мне!..

— Уж это моя забота, говорю тебе. Хочу я с тобой жить... Ты подумай то, как хорошо нам будет! Ну, подумай... Ты представь себе, — усталый, измученный приду я домой, положу вот так голову к тебе на колени и буду любоваться на твои глазки, а ты меня поцелуешь! Ну, постой же, покажи, как ты станешь меня тогда целовать... — Serge наклонился и прильнул своей щекой к щеке Маши.

Маша обвилась вокруг его шеи и горячо целовала его.

— Нет, ты тогда целуй крепче! — заметил Serge и, взявши ее за руку, пристально и нежно посмотрел на нее. — Ох, Маша, как славно будет! Ты много узнаешь! Ты переменишься, ты сама себя не узнаешь.

«Господи! да что же это такое! — думала девушка, не подозревая, что ее Сережа изволил просто строить карточные домики для своего удовольствия. — Уж не жениться ли в самом деле он думает на мне!»

— Ведь я об этом никогда даже и не думала, — говорила Маша в смущении, — никогда не полагала, чтоб это могло случиться так... Да как же твои отец и мать? Они тебе не позволят... Они, я думаю, тебе нашли уж невесту хорошую, богатую...

— Мне нужно жену, а не куклу, что в лавке продаются. В позволении же я не нуждаюсь: не малолетний, — слава богу, располагать могу собой, могу выбирать, понимаю, что лучше для меня... Да, впрочем, они и удерживать не будут, да и не могут... — возражал Serge.

— Но как же я уеду? — продолжала Маша немного погодя. — С кем же маменька останется... Игнатьич-то ей ныне не подмога, а только лишняя обуза!

— Ничего, и одна останется с своим Игнатьичем: ты уж поработала на нее, довольно! Заплатила долг, если такой был: теперь тебе надо и для себя пожить, не все же для других... Не для кабальной жизни ты родилась; не вечная ты работница своей матери... — При этом Serge припомнил монолог Франца Моора.

Маша не поняла всего.

— Она ведь, бедная, скучать станет по мне!

— Привыкнет! — возражал Serge.

— Господи: да что же это! — прошептала опять бедная девушка и посмотрела вверх на темное небо. Ей бы самой хотелось устранить все возникавшие препятствия.

— Но придется, значит, скрытно это сделать? — спросила Маша. — Нужно, чтобы не знали...

— Да, конечно; а то твоя матушка, пожалуй, если узнает, так запрет тебя, — и мне не видать будет никогда мою Машеньку.

— Бежать! Страшно... И что будет, — никто не знает! Как это тебе вздумалось, скажи, пожалуйста?.. Да нет, я, право, боюсь! Когда это будет-то?..

— А вот как первый снежок нападёт, и укатим по первому пути...

— Так скоро?! — Маша невольно вздрогнула; сердце у нее тоскливо сжалось, как будто она теряла что-то дорогое для нее, милое, незаменимое...

Он привлек ее к себе на грудь и стал ласкать, целовать. Тут Маша заметила в его обращении небывалую до того смелость; в глазах его, показалось Маше,

сверкнуло что-то странное, что-то такое, что вдруг напомнило ей купеческого Петрушу, когда тот однажды принялся щипать ее. Маше сделалось страшно, и она быстро поднялась с места.

— Маша, что же ты? — не договаривая, умолял Serge и потянулся к ней.

Она не трогалась.

— Сядь же, сядь! Я не трону тебя! Ну, полно же, не упрямься! Ты меня опять, кажется, починаешь побаиваться, как и прежде? Я не съем тебя, не бойся! Ну, будь же умницей, иди же ко мне! — уговаривал он.

— Я не люблю так... — едва слышно проговорила Маша.

— Ну, я не буду, не буду больше! Прости! — Он взял ее за руку и потянул слегка к себе на диванчик.

Силен был искустель, Маша повиновалась.

— Ты моя! — шептал он чрез минуту, сжимая ее в объятиях.

Маша вспыхнула, хотела еще раз вырваться...

На колокольне ближней церкви сонный сторож пробил полночь. Унылые, дрожащие звуки замирали в воздухе... Забил где-то караульный в доску... В дальнем переулке пролаяла собака... Ей как бы в ответ завыл Танкредко из своей конуры... И опять тихо, тихо на земле и на небе...

Маша дрожала, как в лихорадке; она то обнимала Serge'a, то порывалась бежать: ее все страшило, ее пугала и обступавшая темнота осенней ночи, и глухой шепот берез, и ласки Serge'a... Свержинский долго, долго нашептывал ей что-то...

Выглянул месяц из-за облаков и тускло осветил засоренный желтыми листьями пруд, три темные сосны и под ними пустой дерновый диванчик с помятою травой...

Два дня после того Маша сидела дома, а потом опять стала ходить по вечерам к господам (как называли в почтальонском домике Свержинских) и возвращалась оттуда позднеенько.

Накануне покрова дня зашел к Петровне кучер Свержинских и позвал ее к «господам». Арина Петровна принарядилась, как быть да водится, и отправилась в большой дом на аудиенцию, назначенную так неожиданно. «Что бы такое! Что за притча?» — раздумывала она, подходя к барскому крыльцу и о мокрую траву

вытирая ноги. Ее провели в барынин кабинет, где заседала madame Сверхинская.

Лишь только захлопнулась за Ариной дверь, как госпожа повела к ней такую речь:

— Ну, как там тебя... Хорошу ты дочку вырастила, нечего сказать!.. С молодыми мужчинами на свиданье по ночам ходит!.. Да еще куда! В мой сад! Мерзкая!.. Мы ее приголубили, обласкали, а она вот тебе! Нет уж, видно, ваше племя такое проклятое, — неблагодарное! Как, говорят, волка не корми, а он все в лес смотрит...

Петровна при первых же словах барыни обомлела: тут ей разом пришли на память разные предостережения кумушек, на которые она не обращала тогда должного внимания; почтальонша уже грызла сама себя, мысленно таскала себя за волосы.

— Что вы, что вы, сударыня! — начала она, задыхаясь от сильного волнения и от предчувствия беды неминуемой. — Неужто Машка-то моя?! — с трудом проговорила она, и на ее бледном, испуганном лице отразилась сильная внутренняя тревога, в чертах лица были ясно написаны скорбь, позднее раскаяние, сожаление, — видно, что кровью обливалось ее сердце, когда произносила она последние мучительные слова.

— Да, твоя-то Машка!.. Полюбуйся!.. К своим детям еще допустила, как господь уж сохранил, не знаю!.. Безнравственные вы все... — говорила разгневанная барыня.

Петровна хоть и давно уже оставила барский дом, пожила уж на воле, но уважение к господам в ней не умерло, и потому она смолчала на обидное замечание Сверхинской, хотя в глубине ее души зашевелился уже протест, готовый излиться не в весьма мягкой форме. На этот раз Петровна удержалась.

— Да как же это, сударыня, я-то ничего не знала? — ввернула она в то время, как барыня кусала мел: madame Сверхинская часто страдала изжогой и любила грызть мел.

— Хороша ты мать после этого, нечего сказать!.. Ты не знала, что дочь твоя распутничает? Да кто этому поверит-то, полно! Меня сказками-то не обморочишь... Она не знала, слышите! Да вы что, порознь с ней, что ли, живете-то? Матушка пьянствует, а дочка... тьфу! и сказать-то совестно... — При этом madame Сверхинская

плюнула с ожесточением в сторону и все-таки произнесла то слово, которое так трудно, так стыдно было выговорить... — Нет, ты и сама тут участвовала, что ни говори! Знаем мы вас! — продолжала барыня с возрастающим жаром. — Да нет, голубушка, не на таковских напали! В дворянки захотелось?!

Петровна несколько раз порывалась вставить слово в свое оправдание, но барыня не умолкала и продолжала громить ее: почтальонша все было думала, что дело идет о каком-нибудь лакее, но вдруг из конца грозного монолога догадалась, что тут замешалось лицо поважнее холопского.

— Нет, сударыня, напрасно изволите порочить! — заговорила она, воспользовавшись тем временем, пока барыня переводила дух. — Я этих делов не знала, а коли бы знала, не допустила бы до такого срама... Понимаем тоже, что такое честь... Хошь, обыкновенно, ваше дело дворянское — супротив нашего не поставишь, да все же ведь и мы чувствуем... Может, наговорили что!..

— Чтоб ноги твоей Машутки не было у нас больше, ни в доме, ни в саду! — заговорила Свержинская, переменяв едкий саркастический тон на грозный. — Убирайся! — закончила барыня.

Наконец и в Петровне оскорбленное чувство человеческого достоинства возвысило голос и попросило себе слова.

— Уйти — уйду! Об этом не извольте беспокоиться: не гостить я пришла к вашей милости!.. Воля ваша... а я в этом деле не причастна!.. А и дворянину так делать не приходится, нехорошее это дело! Это так-с! Обидеть нас можно, что и говорить! Да ведь бог-то для всех ровен... — проговорила Петровна грубо, а в глазах блеснули слезы.

— Да ты что, не дерзости ли еще мне будешь делать! Убирайся! Пошла вон! — завопила барыня.

Она никак не предвидела возможности подобного оборота; она думала, что Петровна молча выслушает ее наравоучения, поплачет, да много, много, если скажет: «Бог с вами, сударыня!» или «Бог вам судья!» или что-нибудь подобное. Дело вышло иначе. Свержинская очень плохо знала человеческое сердце. Она полагала, что все смотрят ее глазами, все боятся за увлечения Serge'a...

— Уйду, уйду! — продолжала между тем Петровна. — Не испугались вашей милости, нисколько не испугались, кричать-то нечего! А уж бог вам оплатит за все, что вы погубили девуку!.. Бары еще называется...

— Ох, ох! — застонала Свержинская.

— Креста-то у вас нет; бога-то вы не боитесь, зазнались уж больно!.. — Петровна становилась страшна в своем неукротимом бешенстве.

Свержинская спохватилась.

— Эй, кто тут? Люди! — крикнула она и побледнела.

— Зови, зови! — ядовито орала Петровна. — Людей-то не стыдно тебе! Сынок дочь погубил, а мать гонят... погоди! Отольются волку овечьи слезки... чтоб вам... — голосила Петровна, выталкиваемая лакеем из барского кабинета.

— Разбойники... Черти! — причитала она, очутившись на крыльце.

Вечером того же дня в Тиноводске знали о происшедшем: сначала некоторое смущение напало, затем начались толки, пересуды, споры; несколько семей рассорилось. Скандал вышел полный.

Нет нужды, да и нет возможности пересказывать все, что говорилось в Тиноводске по поводу этого события.

— Ишь ты, подлая, развратная! Во гроб ты съела меня! Бесстыжие твои глаза... Мне бы тебя задушить лучше!.. Принимай бесчестье на свою голову на старости лет! — кричала Петровна на Машу.

Багровая, с злобно сверкавшими глазами, с губами крепко сжатыми, с судорожно искривленным лицом, эта баба была положительно страшна, отвратительна. Площадная, самая гнусная ругань лилась с ее языка обильным потоком. Маша еще ни разу не видала ее в таком иступлении. Все дикие инстинкты ее дикой природы были разбужены: Маша пошатнула ее самые заветные мечты, которые она так долго и так терпеливо лелеяла в тиши; Маша подорвала свой кредит, Петровне не видать, значит, ее «модницей», белоручкой, госпожой, не видать ей воплощения своего любимого идеала. Без пощады, без милосердия била она дочь...

Маша заболела...

Позабыла, видно, Петровна свою молодость, красивого барина, сад жгутовский и в нем ночные игры...

Вот Маша уж и в презрении у людей стала; на нее все смотрят свысока или с усмешкой. Они, видите, лучше ее, нравственнее, добрее, потому они и клеймят ее падшею женщиной; они чище ее и потому бросают в нее грязью, отвертываются от нее с омерзением, как от гадины; они религиознее ее и потому бросают в нее каменья. Но не дали они своей голове труда подумать о том, в какой школе вырастала Маша, и дорого ли стоит их дешевая чистота, и не жалкая ли пародия все их публичные добродетели. Они, подражая попугаям, говорили одни за другими, что «Маша пала», но признавали ли это?!

Маша вдруг переменялась в их глазах: она — испорченная женщина, жалкое существо... Она — грешница!..

Chères soeurs Свержинские жалели Машу, но и те прибавляли втихомолку, что они не ожидали от нее этого, — чего? они и сами не могли бы объяснить: барышни пели с чужого голоса.

— Ну что ж! Я люблю его! — настойчиво повторяла Маша сама себе. — Он первый приглубил меня, первый обласкал, пожалел, захотел мне сделать добро, сказал хорошее слово. Я не оставлю его! Я все перенесу, все ради его!.. и он женится на мне; он говорит, что для него все равны, что мещане, что дворяне, — вот он какой!

Действительно, в ту пасмурную, осеннюю ночь, под тремя соснами, Serge ей много наобещал и в том числе, снисходя к ее неразвитости, дал обещание жениться.

Маше казалось дико не платить взаимностью, не платить добром за добро. Как ни была она убита тяжелым семейным положением, а все-таки находила не мало самой чистой, искренней радости в той мысли, что она любима Serge'ем, в уверенности, что есть в мире человек, уважающий ее именно за то, за что другие поносят.

«Матушка говорит, — думала она, — что я погубила себя, что мне нельзя никуда показаться, а что мне в том!.. Какое же я зло им сделала?»

— Ну, Петровна, что уж это такое! — говорила Васильевна, забежав раз повечеру к соседке. — Со света ты ее сжить совсем, что ли, хочешь: грызешь да грызешь день-деньской, инда слезы вышибает, глядячи, как

она, сердечная, мается. Добро бы девка бойкая какая, а то, смотри, — тихая-претихая, и не слышать ее...

— Ладно, тихая, — говори ты! Тихоня, да что на-творила! Нет, мало бита еще — вот что! — возражала Петровна.

— Ой, уймись, голубка! Полно уж, будет тебе: потаскала ее — и довольно; преложи гнев на милость! Что же это! Все тычки да ругань, путного слова не скажешь... Грешно этак, матка! Смотри, чтоб после спокаяться не пришлось...

— А что мне каяться-то: я ее выводила, выкормила... — упорствовала мать, не могшая еще простить дочери фиаско, постигнувшее ее.

— Так-то так, да ведь не для побоев же ты породила ее, вот что говорю! А грешны, голубка, все мы, не она одна...

— Нечего мне каяться! — с досадой повторяла Петровна, задетая за живое простым, но правдивым замечанием старухи. Если бы Петровна читала евангелие, то слова Васильевны напомнили бы ей из него одно прекрасное место...

Во всем Тиноводске, кажется, и было произнесено только одно разумное слово за бедную Машу, да и то сказалось не в салоне образованного общества, а просто, старую женщиной, темною, не учившеюся добродетели по книжкам в благородном пансионе.

Маша сколько ни старалась быть предупредительною, услужливою работницей, Петровна мучила ее ежедневно, корила ее каждым куском, не давала отойти на шаг от дома, язвила, колола ее немилосердно и тиранила до того, что наконец Васильевна сжалилась над гонимою девушкой и замолвила за нее слово сострадания. Петровна одумалась (впрочем, немного поздно): Маше уж опротивел родной дом, жизнь сделалась невыносимо тяжелою, и она, со страхом и нетерпением, ждала первого, веселого снега.

Вот и снег закружился в воздухе; прошло еще немного времени, и земля забелелась... Скоро, скоро Маша вырвется на волю из душного подземелья, поедет далеко, далеко со своим ненаглядным, поедет вон туда, где на горизонте синееет... Она уж не раз мыслью уносилась по дороге, пропадавшей за заставой; с сильно бьющимся сердцем прислушивалась она к звеневшему

колокольчику... Скоро и Маша отправится в дальнюю дорогу!

В одно воскресенье, лишь только Петровна вышла из дома, оставив дочь одну, как в домик вбежал казачок Свержинских, растрепанный Колька, и подал Маше исписанный крупными буквами клочок бумажки. Посланец скрылся, а Маша с большим трудом стала разбирать писание и разобрала следующее: «Сегодня, в 8 часов вечера, мы едем. Сбери в узелок только самое необходимое на первое время, лишнего не бери ничего: не надо, все будет. Выходи к этому времени за город и неподалеку от заставы жди меня. Я поеду на тройке в повозке, — ты встань ближе к дороге. Пожалуйста, Маша, будь осторожнее, не проговоришься как-нибудь! До свидания же, моя милая. Твой С. С. Оденься потеплее».

«В Петербург!» — повторила Маша про себя, и ей опять стало страшно, страшно за свое неизвестное, темное будущее. С болью посмотрела она вокруг себя: все-то знакомое, все-то родное... Вот печка закоптелая, перед которой грелась она по зимам; вон ветхие стулья — ее игрушки; под окном вишня, полузанесенная сыпучим снегом, как-то грустно покачивает своею обнаженною вершиной, словно тоже прощается; огород с длинными грядками, дырявый плетень и высокий репейник — все это с детства пригляделось ей. Игнатьич лежит на полатах, мычит себе под нос да охает жалобно, точно жизни не рад; трубка его с медвежьей головой на окне валяется... И вдруг все это оставить, переменить на неизвестное, от всего этого оторваться и, может быть, навсегда!.. Невыносимо грустно сделалось Маше; она тяжело вздохнула и долгим тоскливым взглядом посмотрела вокруг себя... Слезы закапали из-под густых ресниц и покатились по щеке...

В сумерки, после обеда, пришла мать.

— Мороз, ой-ой, какой! И таково сиверко стало к вечеру! Уши щиплет важно! — объявила она.

На Петровне тот же старый, очень знакомый, пестрый платок, такая же кацавейка цвета овсяного киселя, то же платье с оборванным подолом.

В последний раз слышит Маша ее крикливую речь... Маша знает, что мать ее не так любит, как она думала прежде, а все-таки ей жаль, очень жаль оставить старуху одну с больным, немощным Игнатьичем: они так

долго вместе жили, делили нужду, горе и мелкие радости, они сжились, — и вот приходит час расстаться, да и проститься-то хорошенько нельзя, как бы хотелось, чтоб не навлечь на себя подозрений.

— Ты, Марья, не озябла ли? — спрашивает мать, заметив, что Маша как будто слегка вздрагивает.

— Нет! — отвечает та. — Это ничего, так!..

Материнская заботливость сказалась в Петровне и острым ножом скользнула по сердцу дочери. «Она все-таки любит меня!» — подумала девушка и едва удержалась, чтоб не разрыдаться.

— Чаю не хочешь ли? Осталось от намеднишнего... — спросила опять Арина.

Маша задыхалась: ей душу воротило каждое слово матери.

— Пожалуй, напьемтесь! — промолвила она. — Сходить за самоваром-то?

— Да я, пожалуй, и сама схожу... Для чего по морозу-то тебе таскаться! — заметила мать.

У Маши в глазах помутилось; набегавшие слезы застилали их. Маша закусил губы и прерывисто дышала.

— Ничего, я схожу! — сказала она, глотая слезы и, не глядя на мать, поспешно накинув шубейку, вышла из избы.

У приворотного столба она остановилась, оперлась на него обеими руками и горько, горько заплакала... Прояснялось в душе, тяжесть спадала понемногу: Маша уже не с ожесточением, а с тихой грустью готова была оставить неласковый, недобрый порог родного дома; теперь она, примиренная, могла спокойнее распрощаться со всем тем из своей обстановки, что за давностью времени стало для нее дорогим.

Стали пить чай.

«В последний раз!» — подумала опять Маша, прихлебывая горячий чай с блюдечка. «Не увидимся! Не пивать нам больше вместе чайку!» — мелькало в ее голове.

Самовар весело шипел на столе; Петровна усердно опорожничала чашку за чашкой; разговор не клеился. Игнатич, по обыкновению, к вечеру еще пуше принялся мычать и охать. Маша с замиранием сердца чувствовала, что время идет, что надо решимостью запастись, надо бежать...

— Спать-то ужо будем, ложись к печке, а я с краю! — заговорила мать.

Петровна в этот вечер, как нарочно, была очень нежна; она словно предчувствовала, что дочь покинет ее навсегда, что уж не придется ей больше сидеть с Машей по длинным зимним вечерам и коротать скучную, унылую пору.

«Ложись к печке! — думала Маша. — Не знаешь ты, где я лягу сегодня; не с тобой я лягу спать, не на печке проснусь я завтра. Спать я не стану сегодня, я уеду далеко от тебя. Ты будешь плакать, а я не приду к тебе, я с ним поеду жить! Иначе нельзя...»

— Что не пьешь-то? — заметила мать, видя, что дочь отодвигала от себя блюдце и чашку.

— Напилась, довольно! Не хочется больше! — и не выдержала-таки Маша, заплакала.

— Ну, ну, что опять? полно уж! — заговорила Петровна сурово, припомнив неудавшиеся свои планы, и горечь разлилась по ее материнскому сердцу. — Чай-то какой крепкий; много я заварила... — добавила она, наливая свою чашку.

Дочь между тем, утирая слезы, силилась принять более спокойный вид. «Да ведь не догадается! Почему ей знать?» — утешала девушка сама себя.

— Не выпить ли для праздника? Можно ведь? — обратилась Петровна к Маше после непродолжительной паузы.

— Можно! — поддакнула и Маша.

Чтоб избавиться от докучных, неприятных воспоминаний, почтальонша имела правило испивать сивухи. Так и теперь пропустила она одну рюмочку, за одной — другую, за другой — третью и так далее. Зашумело у Петровны в головушке, и разговорился хмель.

— Игнатьича разве попотчевать! Эй, старый хрен, хошь выпить, а? — крикнула она сиплым голосом, оборачивая голову по направлению к полатам.

— М-мы да-а! — послышалось с полатей, и затем там поднялось усиленное ворочанье и кряхтенье.

— Поднеси ему, Маша: пусть он потрескает. Да рюмки-то ему мало, ты возьми стакан лучше... он на полке там... — Язык Петровны уж начинал сбиваться.

Маша налила в стакан сивухи и подала Игнатьичу.

Тот выпил разом, облизал свои толстые губы и как-то странно улынулся, глядя на Машу.

— Хорошо-о-о! — просопел он. — А еще?..

— Вишь, черт, разлакомился! Околеешь еще, так и с тобой беды наживешь... Опоила, скажут... — прикрикнула на него Петровна.

Старик смолк.

— Ну, Марья, когда же ты барыней-то у меня будешь, а? Из дома-то меня не прогонишь, скажи-ка ты мне? — Петровну уж, видимо, сильно начинало раздражать; глаза помутились и неподвижно уставились в одну точку; лицо покраснело, дыхание было прерывисто и тяжело...

— Как могу я гнать вас! — отвечала Маша, и ей опять противною показалась жизнь родной норы; ей опять пуще прежнего захотелось на чистый воздух.

«Здесь мать, жаль ее, это правда; но здесь грязь, и грязь отвратительная!..»

— Вишь, как морозко-то потрескивает, больно что-то студено стало! — заметила Петровна, прислушиваясь.

— Да! — машинально произнесла Маша.

Поболтав еще немного о разном вздоре, старуха угомонилась и прилегла на лавку. Скоро громкое храпенье возвестило о том, что Петровна успокоилась сном крепким.

«Время нужно узнать! Сбежать к Васильевне... надо не опоздать!» — подумала девушка и, накинув шубейку, отправилась к соседке чуть не бегом.

— Узнай, Васильевна, матушка, у своих жильцов, сколько часов теперь! — проговорила Маша, входя в знакомую комнатку и еле переводя дух от усталости.

— Чтой-то тебе приспичило, касатка? Запыхалась-то, запыхалась-то как! Разболокайся, посиди, гостьей будешь! — по обыкновению радушно встретила ее Васильевна.

Маша с подозрением взглянула на нее: ей с самого утра, как только получила роковое послание, приглашавшее ее за заставу вечером, все казалось, что все уже знают об ее намерении бежать, что все следят за нею и не говорят лишь потому, чтобы вернее привести в исполнение свои злокозненные замыслы в отношении ее... Лишь только она бросится за заставу, как тотчас за нею явится и погоня, схватят ее и утащат опять

назад в душную пору, а он уедет один, оставит ее, разлюбит, забудет...

— Некогда! — отвечала она Васильевне.

— Ну-ну, ладно, погоди, узнаю сейчас!

Через минуту Васильевна вошла в комнату.

— Седьмой в доходе, голубка! — объявила она. — Да обогрейся хошь маленько...

— Нет уж, тетенька, домой-то надо поспешить... забегу уж!

— Ну, затвердила одно: домой да домой... Э-эх ты, дитятко! — заметила ей Васильевна шутливо-сердитым тоном.

— Так прощай, голубушка... — сказала девушка.

— Ну, прости, прости!

Возвратясь домой, Маша собрала кое-что, завязала в маленький узелок и присела, по русскому обычаю, в головах у спящей матери. Нагоревшая сальная свеча бросала тусклый, неровный полусвет на все предметы. Знакомая картина вызвала целый ряд не менее знакомых картин из давнего и близкого прошлого. Маша читала отходную по своему прошедшему... Здесь ее ребячество проходило, здесь мелькнула первая пора юности... Маша смотрит на озаренное светом лицо матери и говорит сама себе:

— Проснется и не увидит уж она более меня!

Игнатьич время от времени мычит на полатах. Вишневая ветка, покрытая снегом, бьет в окно, словно грозит кому-то...

Маше захотелось есть. Она достала из поставца краюшку черствого ржаного хлеба и отрезала ломтик. Последний кусок в родном доме! Трудно он проглатывался! Какова-то будет хлеб-соль, с которою встретит ее близкое, но таинственное будущее?.. Занавес еще опущен.

— Пора! — сказала наконец Маша вслух и, легко поцеловав мать, поднялась с лавки. При взгляде на почернелый образ, стоявший на полочке в углу, она вздрогнула: ей стало жутко... Силы вдруг оставили ее: ноги задрожали, страшная слабость разлилась по телу. Минуту даже она думала махнуть на все рукою, остаться дома и терпеть, но обольстительный образ опять мелькнул перед нею лучше, прекраснее, заманчивей прежнего... Она решила.

Штоф стоял на столе у давно потухшего самовара, не все еще выпито в нем, и Маша судорожно схватилась за него, как за последнее спасение, глотнула из горлышка раз-другой... Огонь мгновенно пробежал по жилам, голова немного закружилась, и Маша, точно уже как во сне, видела перед собою полуосвещенную, грязную избу, раскрасневшееся лицо матери, прикрытое взбившимися волосами, словно же во сне очутилась она на улице и за заставой.

Тут только она как бы опомнилась; хмель мигом вылетел из головы, и девушка пришла в себя. Оглянувшись кругом, беглянка увидела невдалеке огни: то Тинноводск... а там снега и снега... Небо мутно, снеговые облака заволакивают его, — только кое-где над самым горизонтом тонкою полоской сквозит лазурь и проглядывают звездочки... Холодный, резкий ветер проносится с силой по безлюдным пустыням, взвывая снег...

Маша стоит и ждет.

Вот и колокольчик, но нет — мимо!

Вот опять — ближе и ближе... Это он! Ловко выскочил из кибитки Свержинский и схватил Машу в объятия.

— Насилу я тебя дождалась! — могла только проговорить она и от наплыва сильных, жгучих ощущений почти без чувств упала к нему на грудь.

Полетели наши путники.

В то время как ее мысль бежала еще назад к покинутому домику на краю города, Serge летел уже мечтою вперед и вперед. Он устроил жизнь именно так, как хотел. Он в Петербурге, в кругу друзей, товарищей; хорошенькая, умненькая Маша с ним, он развивает ее, просвещает... Новая, трудовая жизнь на честных началах... Упоительные часы отдыха...

А Маше видится грязная комнатка, слабо освещенная сальным огарком; видится мать на лавке, и в ушах звучит знакомый голос: «Спать-то ужо будем, ложись к печке, а я с краю лягу!» Она прижалась к Serge'у.

— Тепло ли тебе? — спрашивает тот заботливо и запахивает ее своим тулупом. — Теперь тепло?

— Да, так хорошо! — и они слились в долгом, долгом поцелуе...

Лихо покрикивал ямщик, лошади бодро и дружно бежали. Легкая кибитка быстро неслась, ныряя в ухабах,

и уносила Машу вдаль от Тиноводска... По сторонам расстилались белые равнины, даль пропадала в синеватом сумраке ночи, а под раскрашенную дугой гудел и звенел колокольчик...

Старик Свержинский летом был не прочь погулять в деревне, пожить, как говорится, нараспашку «среди полей и лесов дремучих», а зиму проводил обыкновенно в губернском городе за карточным столом.

В эту картежную пору благодаря постоянным проигрышам финансы быстро истощались. С крестьян между тем нужно было получить деньги, следуемые за землю, собрать долги, распродать хлеб. Дело бы, кажется, немудреное, а Свержинский все-таки ломал над ним голову: через переписку со старостой это немудреное дело должно было протянуться (по барскому расчету) не менее как месяца три или четыре, и то при благоприятных обстоятельствах; оставлять же самому семейство, знакомых, клуб — главное, клуб — ему не представлялось достаточного резона. Госпоже Свержинской в деньгах тоже была крайняя необходимость; приемы гостей и выезды немало также участвовали в произведении финансового кризиса, а балный сезон только что еще начинал разгораться. Ехать самой в Волчково — все равно, что ехать в какие-нибудь Приуральские степи — вещь немыслимая. К тому же хозяйство оставалось для нее вечно чуждою, неведомою сферой. Отпустить — или, вернее сказать, прогнать — мужа в деревню тоже дело не совсем подходящее: там есть Аксинья, одна востроглазая молодая бабенка, а за мужем давно уже водились разные истории деревенского ловеласа... Барышни, «неземные создания», жаждали денег не меньше родителей и теребили последних...

И вот наконец, когда тревожное волнение, все сильнее и сильнее овладевавшее членами фамилии Свержинских, в одно утро дошло до решительного взрыва вследствие всеобщей, довольно оживленной ругани, когда папаша с неистовством принялся сосать свою трубку, а татап слабым голосом попросила спирту, тогда Сережа предложил свои услуги съездить в Волчково и собрать все, что нужно. Предложение его было принято.

Вскоре после этого утра Сережа, снабженный разного рода инструкциями, покинул Тиноводск (как читатель уже видел). В Волчкове Serge пробыл с Машей недолго; сбыл часть хлеба за полцены, собрал часть денег с мужиков, а так как должники упирались и просили отсрочки, то он великодушно махнул рукой и послал их к черту. С двумя тысячами рублевиков в кармане, с радужными мечтами и надеждами поскакал Свержинский из села Волчкова, но только не в Тиноводск, где изнывали от нетерпения *chères père, mère и soeurs*¹, а совершенно в противоположную сторону — «ко холодным невским берегам».

— Наконец-то мы с тобою вырвались! Улетели, моя голубушка! — шептал Serge Маше, нежно целуя ее щеки, разруганные морозом.

— Мы теперь от них далеко, далеко... — отозвалась Маша, ласкаясь к своему спутнику, и немного погодя спросила: — Ведь ты им скоро выйдешь, да?

— О да! Конечно... Тотчас по приезде! — успокоивающим тоном проговорил Serge.

Здесь кстати заметить, что Свержинский уверял Машу и самого себя в том, что из собранных им в деревне денег он возьмет себе только малую часть на проезд и на первое время проживания в столице, а остальное все отошлет в Тиноводск к родителям с письмом, исполненным достоинства, в котором объявит, что взял у них немного денег в долг, и немедленно, при первой же возможности, отдаст их с процентами, что не говорил им об этом лично по той простой причине, что ждал с их стороны упорного сопротивления, которое повредило бы ему и им, не принеся в то же время никому спокойствия. Свержинский перед Машей казался героем, и Маше казалось, что хотя дело с виду и не совсем чисто, а в сущности — естественное, очень доброе дело: он отдаст им деньги, не станет больше жить на их счет, да и родные — каковы бы они ни были — не должны же пожалеть каких-нибудь двухсот рублей для того, чтоб их единственный сын составил себе карьеру. Она не могла обвинять Сережу, понимая, что если тут грех и есть, то этот грех делается ради ее и потому должен всю свою тяжесть пасть на ее голову, почти

¹ дорогие отец, мать и сестры (франц.).

не касаясь ее возлюбленного... Сам же Serge о своих родных всего менее заботился. Он хотя и был положительно убежден, что собранная им в Волчкове сумма пойдет на ветер, но ему не надо чужих денег, он не нуждается в поддержке: надеясь на свои силы, Сержинский был уверен, что не потонет в том омуте, где так много тонет человеческих жизней и сил. Будущее рисовалось ему до того в заманчивом виде, выступало в таком привлекательном, нежно-розовом свете, что он, не задумываясь, бросал привольную жизнь, меняя ее без страха и сожаления на трудовую, тяжелую жизнь, обставленную зловещими вопросами о завтрашнем дне...

— Что же ты, Маша, будешь делать? — спрашивал Serge, когда их кибитка неслась по гладко укатанной дороге среди полей, среди лесов, мимо бедных деревушек, мимо помещичьих усадеб, мимо старых сельских храмов.

Маша была на все согласна; она была готова на всякий труд.

Порой набегали сомнения. «Город большой, страшный город! — думала Маша. — Если оно ошибется в своих расчетах — плохо придется... Но у меня руки есть, я буду за троих работать...» Маша не положит рук, не ступает перед бедой: беда ее на свет родила, беда колыбель ее качала, с бедой она сызмала познакомилась, присмотрелась к ней, — не отвернется. Жила она холодно, голодно, без любви, без счастья, а тут с любимым человеком сил еще прибавилось. «Бог не без милости, свет не без добрых людей!» — добавляла Маша мысленно и при этом вспоминала старуху Васильевну, от которой она часто слыхала эти слова; но Васильевна еще замечала (что Маша упустила из виду): «Конечно, свет не без добрых людей, это точно, да искать-то их не легко: они, вишь, словно прячутся...» Юные сомнения почти постоянно разрешались теплою, отрадною надеждой... Маша хотела верить и верила.

Много деревень промелькнуло перед ними, много рек, городов и лесов осталось позади. Не раз синие сумерки спускались на снежные равнины, не раз тусклый рассвет прогонял ночную мглу. Вот добрались наши путники до железной дороги и полетели. Маша смотрит в полузамерзшее стекло: там, по сторонам, бегут деревья, одетые инеем, чернеют овраги, мелькают мосты;

домики, словно игрушечные, перед домиками сторожа — и все это быстро, быстро несется мимо...

Вечером одного дня увидела Маша вдаль на горизонте огни... Сердце екнуло и замерло...

— Что это, не Петербург ли? — спросила она не без трепета.

— Да, он! — отвечал Serge и, наклонившись к окну, жадно стал всматриваться в темневшую даль: у него сердце тоже било тревогу.

Потянулись по сторонам пустые вагоны, склады дров... Локомотив пошел все тише, тише... Чудовище, как бы издыхая, заохало, свистнуло и стало. Чудовище примчало Машу в «большой город»... Поднялась обычная суматоха: возня, шум, крики. Маша едва держалась на ногах; голова у нее кружилась; усталость подкашивала ноги, Маша точно во сне видела происходившее перед нею...

— Чтобы мне не потерять тебя! Погоди, пожалуйста! Куда так торопишься-то? — говорит она, протискиваясь в толпе за Serge'ем.

— Не отставай! — замечает тот. — Ведь здесь не Тиноводск...

Маша видит, что не Тиноводск.

Вот они на подъезде. Их встречает ясная, звездная ночь.

И поехали они по улице, — конца ей не видать! Газ ярко горит, блещут окна магазинов...

— Каково? — с гордостью спрашивает Serge, словно вводя Машу в свои собственные владения.

— Как светло! Точно день! — шепчет Маша, с диким любопытством озираясь по сторонам.

Serge остановился в одной из лучших гостиниц, то есть в такой, где берут втридорога и за воду и за воздух. Когда они уже стояли у окна в своей комнате и любовались куполом Исаакня, высоко поднимавшимся в небе, Serge заметил, что Маша клонит голову к нему на плечо.

— Отдохни с дороги! — сказал он. — У тебя уж и глазки смыкаются, спать хотят... — и с нежным поцелуем проводил он ее, утомленную, но довольную и счастливую, к ее новому ложу...

Но тревожна была первая ночь Маши в «большом городе»; ей снилась мать, спящая на лавке, и тускло

освещенная изба; снился немощный Игнатъич, снились блистательные барышни Свержинские, снилась Васильевна: строго, сурово выглядывало сморщенное лицо старухи, точно с упреком и сожалением смотрели ее тусклые глаза, прямо устремленные на Машу... Снился ей и сад старинный, сумрачный дом, снилось еще многое, чего она и припомнить не могла... Утром, пробудившись, почувствовала Маша, что слезы текли по щекам и сердце было как-то беспокойно: оно не то чтоб сильно билось, а, казалось, дрожало... Что за слезы? И о чем они? Разве настоящее не улыбается ей такую безоблачною, сияющею улыбкой?!

Пошло время своим чередом, как шло оно и в далеком Тиноводске, только как будто бы немного поскорее. Занялись наши приезжие прежде всего осмотром, — и насмотрелась Маша диковинок вдоволь, понравился ей блестящий Петербург, его дворцы, его сады и площади с монументами.

— Пора бы, кажется, и за дело приниматься! — не раз уже говаривала Маша серьезно-шутливым тоном: девушка не любила долго собираться делать дело.

— Ну погоди! Нароботаемся еще, время не ушло! — возражал обыкновенно Serge и тащил ее в оперу слушать Тамберлика, Леонову или Биянки, то вез ее в театр, то в цирк куда-нибудь, то просто катался на лихаче-извозчике.

Заездил Serge по магазинам, принялся бросать «не на ветер» денежки, собранные в Волчково; он точно возымел дерзкое желание опустошить Невский, но крупные ассигнации разменивались на мелкие, те еще на более мелкие и исчезали, а товаров в магазинах между тем не убывало... Посягательства Сережи, таким образом, напоминали собой старую сагу о борьбе витязей с небесными силами: бьются богатыри, бьются, а сила все растет, — растет да на витязей с боем идет...

Время шло, а деньги все еще не отсылались. Да и как им было отсылаться, когда борьба с могучими силами Невского проспекта была в самом разгаре! Маша между тем втайне возмущалась; ее честная, правдивая натура никак не могла примириться с легкомысленным поведением Сережи, увлекавшимся всякою дрянью. Ей пока еще только казалось странным, что он, такой умный, ученый, мог предаваться охотно безделью, инте-

ресоваться пустым блеском; она не знала еще, что Serge строил карточные домики... А эти домики легки...

— Что же, Сережа, ты говорил, что мы будем жить тихо, смиренно, на маленькой, дешевенькой квартире, а между тем все еще, вон уж другой месяц, занимаем такие дорогие комнаты! — заговорила раз Маша, твердо решившись наконец во что бы то ни стало отобрать от Serge'a объяснения насчет невыполняемых обещаний.

Они сидели на диване: Serge только что прочел газету и бросил ее на стол; Маша, обвинившись рукою вокруг его шеи, пристально, нежно смотрела ему в лицо, словно желая проникнуть в его сокровенные думы, которые в последнее время стали нагонять на его чело морщинки и хмурить его черные брови.

— Хотел работы искать — ничего нет, — а время уходит, и деньги уходят! — продолжала она, стараясь придать своим словам шуточный тон, но напрасно; в словах ее все-таки слышался энергический протест. — Отец и мать, поди, с ума сходят, никаких ведь известий от тебя нет... Что же это? Я тоже без дела сижу... Разве мы сюда разгуливать приехали? Я даром хлеб ем! Я никак не думала, да и не хотела, чтоб ты меня так вот барыней и посадил! Я была так уверена... Да что же ты молчишь? Скажи что-нибудь!.. Голубчик, Сереженька, ты знаешь, я тебя люблю, вот как люблю, не могу и сказать, не умею... Ей-богу, я все боюсь чего-то... Пожалей хоть меня, найди местечко... Сокровище ты мое, я не скрываюсь, я откровенно говорю тебе все, все, от души! Станем жить так, как, помнишь, ты говорил мне еще дома... Сделаем же так, ненаглядный мой! — говорила Маша с жаром, с увлечением, и последние слова произнесла уже неровным голосом, а когда кончила, по щекам ее катились слезы.

Молодой человек при начале монолога нахмурился и собрался было ходить по комнате, что он обыкновенно делал в подобных случаях, но Маша так крепко обнимала его, так детски чистосердечно ласкалась к нему, что он не мог оттолкнуть ее от себя. Брови было насупились, по лбу складки прошли, а глаза смотрели в пол, точно высматривая что-то там, в паркетe... Все же это в переводе значило: «Ну, опять поднилась со своими назиданиями!» Но когда тон Машиней речи принял жалобный, тоскливый оттенок, Serge

не выдержал: полузабытые мечты ожили с новой силой, чело мгновенно разгладилось, а глаза прямо посмотрели на Машу.

— Завтра же найдем квартиру! Об уроках буду публиковать в «Ведомостях», приищу переводы! Слышишь, Маша? Ну, довольна ли ты теперь, беспокойное, но милое создание? — и красноречивым поцелуем закончил Serge свое краткое объяснение.

Действительно, дня через три после этой сцены, ввечеру перебрались они на Петербургскую сторону и приютились на маленькой, но чистенькой и светленькой квартире, вдали от шума и грома, поблизости с островами. Маша была за работой с утра до ночи: уборка комнат, приготовление к обеду, шитье, вязанье аккуратно разбирали ее время. Весело трудилась Маша, не примечая, как бежали дни за днями и неделя за неделей с неуловимою быстротой... Сереже тоже скоро удалось добыть себе работу, перевод с немецкого — описание какого-то путешествия. С большим одушевлением принялся Свержинский за дело, просиживал дни и ночи напролет, так что Маша стала даже опасаться за него.

— Ты, право, голубчик, заболеешь, если станешь все так заниматься; хоть бы отдохнул сколько-нибудь, а то несколько часов сряду спины не разгибаешь, все над книгой, — говорила Маша и сама радовалась в душе, любуясь на своего милого.

Ее мечты заветные сбывались; она жила тою самою действительностью, которую уже давно создала под влиянием Сережиных откровений...

— Ничего! Не слабого десятка, не бойсь! — успокаивал весело тот, не отрываясь от дела, и просил набить себе папиросу, поправить лампу или налить в черпильницу чернил; в благодарность за подобные услуги он целовал свою «Машурку», оставался весьма доволен и бодро продолжал работать.

Казалось, добрый ангел парил над этим тихим уголком; так было все в нем честно, мирно и светло!

Напрасны были опасения Маши; Сережа не заболел; опасный период кипучей деятельности прошел благополучно. Юноша на первых порах, как говорится, готов был бога слопать, а потом мало-помалу стал охладевать, находя переводимое сочинение сухим, бестол-

ковым и до крайности скучноватым. После такого неожиданного открытия работа пошла вяло, нехотя, да к тому же и времени удобного стало находиться все меньше и меньше, хотя Маша и замечала, что «дни, слава богу, стали прибывать». Выпадет, бывало, часок-другой свободный, Сережа сядет за книгу, почи-тает, попишет, но вдруг ему сделается тяжело, глазам больно, да что-то и голове неловко, как будто угар...

Крылья начинали опускаться у ясного сокола...

Мрачный, низкий дух притворства, слабости и лжи приступал; от его глетворного дыхания в мирном дотоле уголке распространялось недовольство и уныние...

Но кое-как работа кончена, последняя страница переведена и переписана, а тут-то и вышел скандал. Издатель-книгопродавец остался решительно недоволен переводом; Свержинский, конечно, страшно разобиделся, исправить перевод не предложил, наговорил издателю много не совсем приятных вещей и, пасмурным приехав домой, объявил Маше за чаем, что переводы пустое дело: «Работа самая неблагодарная... Лучше мостовую идти 'мостить! Напрасная трата времени, и больше ничего! С книгопродавцем разошелся: дрянной он человек и подлец... Денег не получил... Черт знает! Ерунда!» — и прочее. Маша сочла за лучшее не вдаваться в подробности: проклятиям и без того не было бы конца, если бы не подоспела ночь на помощь. Ночь утишила волнение.

Машу сильно начинала озабочивать раздражительность Сережи — явление, доселе небывалое. Неопытная девушка не могла еще догадываться, что Сережа ненатурален, что порядочность его — напускное украшение, что подобный ход дел долго не мог продолжаться, что ненормальность положения, естественно, должна была вызвать реакцию, что неудобную маску неловко носить... Все и произошло, как следовало произойти: Сережа становился сам собой, а Маша находила, что он вовсе не походит на себя... Очевидно, выходило недоразумение.

После печального происшествия с переводом Свержинский пропадал куда-то дня два, а Маша по нему чуть с ума не сходила: «Не приключилось ли с ним какого-нибудь несчастья? Или просто загулял с друзьями?»

На третий день Serge явился жив и невредим. «Уроки нашел!» — было его первую фразой, когда он вступил в комнату.

— Господи! Да где же ты был все это время? Ну, рассказывай же скорее, мой миленький! Я ждала, ждала... Здоров ли ты? Смотри, какое лицо у тебя бледное! Не случилось ли, голубчик, чего? — заботливо расспрашивала Маша, крепко целуя Свержинского и снимая с него шарф.

— Да ну! Пожалуйста, без восклицаний! По Петербургу скитался, вот и все! Словно чудо какое... — с досадой проворчал Serge, освобождаясь из нежных объятий.

Маша обомлела, а он опять смотрел в пол, по лбу протянулись складки, на лицо набежала тень... Собралась Маша с духом и твердо, серьезно сказала:

— Чуда тут, конечно, никакого нет... Но к чему же кричать, с чего этот презрительный тон! Если тебе неприятны мои вопросы, ты мог бы и без крику сказать мне это... Ты, право, Сережа, странный какой-то нынче... Разумеется, я и прежде... давно уже привыкла, чтобы меня...

Тут голос ее оборвался.

Свержинский смолчал. Слихорадочным нетерпением сдернул он с себя галстук, повалился на диван и закрылся газетой.

О деньгах Маша уже не спрашивала после того, как ей резко ответили, что деньги отосланы куда следует и чтобы она не изволила беспокоиться. Ей лгали. Мечты заметно стали терять для Сережи свою обаятельную прелесть от соприкосновения с грубою действительностью: Свержинский начал примечать, что мечты, как мечты, весьма хороши, но осуществление их на деле трудно и тяжело: «Силы изменяют, да и общество-то того еще...», ну и тому подобное... На уроках он тоже «разошелся»: ученики достались слишком уж тупы! так по крайней мере значилось по его донесениям Маше, перед которою он все еще хотел выгораживать себя от упрека в слабости и лени... Прежде он фальшивил с увлечением, бессознательно, фальшивил перед собой и перед другими искренно, если можно так выразиться; теперь же он фальшивил обдуманно, холодно, с целью рисоваться, обманывать только других:

он поднимался на ходули, сам то сознавая, и разыгрывал всем хорошо известную роль Хлестакова.

Борьба между тем с небесными силами завязывалась снова.

— Ну, уж кушанье у нас, признаться! Все одно и то же! До смерти надоело — в рот ничего нейдет! — ворчал однажды Свержинский за обедом: он уже успел побывать в «Палермо».

— Постой же ты, погоди! Не торопи меня! Вот скоро научусь и пирожное делать: «Авдеева» поможет... дай только срок! Строгий барин!.. — заметила Маша, насильно улыбаясь, и с болью подумала: «Мое кушанье перестало ему нравиться! В рот ничего нейдет! А ведь прежде он хвалил его; был сыт, доволен, ел с аппетитом...»

— Да уж все не поварское, что ни говори! — твердил Serge, хмуря брови, и в воображении его являлись разные заливные редкости, пирожки, тающие во рту, и т. п.

Но Маша не теряла надежды на возврат лучших дней: надежды очень цепки...

Время подходило к масленице. На Адмиралтейской площади воздвигались балаганы; в театральных кассах шла давка; кафе-рестораны, трактиры, харчевни, танц-классы и тому подобные не совсем веселые увеселительные заведения оживлялись все более и более: петербургский люд собирался встретить великий пост...

— Забрались же мы с тобой в трущобу! — говорил Serge, придя домой навеселе с приятельской пирушки. — Ведь мы в самом деле на краю света живем! Тебе скучно, Маша? Признайся! Будем откровенны...

— Вот еще что выдумал! — перебила с удивлением девушка, не ожидавшая, чтоб ее заподозрили в чем-нибудь подобном. — Ты, Сережа, никак рехнулся! Мне скучно! Что ты!.. Только вот жаль, что тебе-то все неудачи, неприятности такие...

— Неудачи-то к черту! — решил хмельной Сережа, разваливаясь на кушетке. — Не в том дело!.. Надо бы вот поближе куда-нибудь перебраться, а то просто со скуки пропадешь в такой преисподней! — продолжал оратор под влиянием винных паров, разумея под словом «ближе» поле битвы, то есть Невский.

Эта несвязная речь кольнула Машу: не добром от нее отзывалось... «Он скучает! Скучает со мной!» — подумала бедная, пробуждаясь от сладких снов. Этого-то именно она пуще всего и боялась. Оправдались, значит, опасения Маши, которые она была еще не в силах высказать себе: как можно высказать вслух то, что так страшно, так больно, что так хотелось бы скрыть!.. Не всякий же решится прочесть самому себе смертный приговор.

— На какие же доходы найдем мы квартиру там... в городе? Ведь твои сорок рублей с уроков уже почти прожиты... — спросила наконец Маша, с великим усилением подавляя стон.

— Знакомых-то у меня нет, что ли? Сто рублей уж занял! — возразил Serge, глупо как-то махнув головой: «знай, мол, наших!»

— Да, впрочем, тут толковать уж нечего! — закончил он и сморщил брови, а через минуту расхохотался...

Робко, нерешительно задавала Маша вопросы, сама их трепеща; теперь же, заслышав дикий Сережин хохот, она дрогнула: кумиры свои разбивать не легко... «Не послал он денег домой! Ей-богу, не послал!» — прошептала Маша и уныло посмотрела на Serge'a. Глаза ее затуманились.

А Serge, развалясь на кушетке, играл цепочкой и, прищурившись, взглядывал то в темный угол, то на Машу...

Золотые дни увлечения, скоропреходящие дни, миновали для Маши, унося с собою все то очарование, которое одухотворяло мечты, давало жизнь и силу призракам, придавало плоть и кровь, жизнь и красоту бледному скелету, осыпало его цветами... Маша начала терять веру. Все стало мало-помалу окрашиваться в свой собственный цвет, вся гадость и мерзость, вся мертвечина являлась в отвратительном виде, желтый, костлявый скелет показался без покрывала и цветов...

Перебрались наши знакомые опять в самый омут столичной жизни, где немолчно по мостовой гудят, гремят кареты, трясутся ваньки и ломовики, где крик и шум повисли в воздухе. Но тут, на новой квартире, «дело гораздо не хорошо пошло», выражаясь по старине: началась разгульная жизнь. Сережа кутил и ку-

тил, позабыв все радужные мечты свои о честном труде; в чаду оргий он хотел заглушить напоминания, топил их в вине, а Маша являлась ему живым укором, Маша растравляла раны. В «Bierhalle», сидя за стаканом пива и говоря с приятелем по душе, он ругал свою жизнь (как актер на сцене)... «Пустая жизнь!» — говорил он; приятель соглашался и в виде утешения предлагал спросить еще бутылку «баварского».

Утром Свержинский обыкновенно раскаивался, что оставляет Машу по целым дням одну, Машу, которая так любит его, что решилась все оставить и пошла с ним в неизвестную сторону, а вечером он опять летел в притон какой-нибудь Анны Васильевны, и ночь опять проходила в обильных возлияниях Бахусу и в сладострастных объятиях, купленных за деньги, между тем как Маша томилась одна все эти длинные дни и ночи, бродя как тень в пустых, богато убранных покоях, прощаясь со своими несбывшимися надеждами, со всем обольщением прошлого...

Преобразование Маши давно уже было отброшено на второй план, а теперь уже и вовсе вычеркнуто из программы деятельности. «Где нам, — думал Serge не без горечи, когда бывал трезв. — Мы любим уже готовое!» Все добрые желания, все благие намерения прахом пошли, и тут только, в часы невеселого раздумья, Свержинский увидал, что строил карточные домики. И больно и стыдно!.. Впрочем, это сознание, скользя только по поверхности, не западало ему глубоко в душу. Свержинский просто затыкал уши, зажимивал глаза, чтоб не слышать и не видеть самого себя: слабые натуры только бегством и спасаются.

«Что с ним сделалось такое? Пропадает подолгу, неизвестно куда; ничего не говорит, только хмурится!» — невесело думала Маша раз вечером, дошивая Сереже рубашку, сидя у окна и пользуясь последним угасающим светом зимних сумерек.

Дверь стукнула, вошел Свержинский.

— Уже темно! Лампу надо зажечь, затопить камин! — проговорил он, бросая на стол шляпу и перчатки и ложась, по обыкновению, на кушетку. — Маша, позвони!

Звонок раздался, явился человек, затопил камин и осветил комнату.

Прошло полчаса. Закрыв глаза, лежал Serge и точно будто бы дремал. Маша сидела поодаль, сложив на коленях шитье, и тихо плакала.

— Маша! Ты плачешь? — спросил вдруг молодой человек, не поднимаясь с кушетки и взглядывая исподлобья на девушку.

Маша не отвечала.

И опять молчание, молчание убийственно тяжелое для обоих!

— Да, плачу! — промолвила наконец девушка едва слышно, и звуки ее слов более походили на шепот ветерка, на шелест листьев, чем на звуки человеческого голоса.

Грудь ее высоко поднималась, слезы текли по бледным щекам и падали на ее платок, падали ей на руку, на шитье, на ее черное шерстяное платье. В эти минуты Маша представляла собой само отчаяние; скорбь глубокая, безнадежная просвечивала в чертах ее лица. И видно было, что непритворное горе наклонило эту головку, что тоска грызущая, страшная тоска волновала эту молодую грудь.

— Ты не любишь меня! — продолжала Маша также тихо, словно боясь сама себя. — Я верила тебе, ты обманул меня... Где же то, о чем ты говорил?.. То ли ты делаешь, что обещал?.. Я давно уж плачу... Да что тебе говорить, мне не высказать всего... Ты и сам знаешь...

— Маша! — начал Serge, зевая и прикрывая рот рукой. — Что ты за глупости все говоришь? Как тебе хочется тревожить себя, не понимаю! Забрала себе в голову черт знает что... пустяки какие-то...

— Ничего я не забрала себе в голову: ты сам меня навел на это... Помнишь, как ты говорил... Бранил людей пустых... — возражала Маша, и голос ее становился тверже и сильнее.

— Ну и бранил! Что же из этого?.. Теперь пусть меня ругают... И ты ругай! Можешь! — Сереже пришла охота самоуничижаться, да его жиденькая, хилая натура и без того не могла устоять против сильной натуры Маши.

— Ты меня не любишь, Сережа! — начала она немного погодя, и голос ее задрожал, как порванная струна.

— Ну, вот еще! — заговорил Serge недовольным тоном. — Ведь я тебе уж говорил и повторяю, что я люблю тебя! Чего же тебе еще?

— Да что ты правды-то не скажешь? Мучишь меня...

— Ты мне не веришь, что ли? — обидчиво спросил Serge.

При этом губы Маши подернулись, она вся вздрогнула: «Не верю», — блеснуло в ее голове. Маша приподнялась, зашаталась и со стоном упала в кресло. Рывания душили ее.

Serge спустил торопливо ноги с кушетки и бросился к ней.

— Маша, Машурочка! Полно, ну полно же! — шептал он, целуя ее. — Послушай, успокойся! Прости же меня, ну прости, моя голубушка! — уговаривал он Машу, приходившую в себя.

Маше показалось, что на нее пахнул знакомый воздух, она дышала прежним: ей казалось, что над нею раскидывается то же небо, что было над нею в Тиноводске; ей чудилось, что вокруг нее раздастся знакомый шелест старинного сада, что над нею зажигаются в вышине те же золотые звезды, что горели когда-то давно над ее головой... И Маша не устояла: всхлипывая, доверчиво, по-прежнему склонила она на грудь Сережи свою разгоряченную голову и, как прежде бывало, припала к нему с страстной любовью. Она словно искала защиты у своего Сережи против того слабого, дрянного Сережи, который был к ней так недобр...

И к Свержинскому, казалось, возвращался добрый гений в те мгновения, как он держал в своих объятиях плачущую девушку и горячими поцелуями осушал ее слезы; казалось, все, что было в нем чистого, светлого, поднялось из глубины, заговорило... Но это так — минута... вспышка... Догоравшее пламя с треском вспыхнуло еще в последний раз, погорело-погорело и угасло совсем... Только светильня еще дымится, а вокруг мрак и тьма...

Прошло немного времени.

Опершись одним коленом на кресло и прислонившись к стене головой, стояла Маша у окна и задумчиво смотрела на улицу: там ярко горят фонари, еще ярче горят большие окна магазинов; темные фигуры являются в свете, отбрасываемом фонарем; им пред-

шествуют, за ними идут длинные, фантастические тени и снова пропадают...

Маша думает: «Как-то матушка зиму зимует со старым Игнатичем! Весточку бы получить!.. Не на радость я ее покинула одну-одинешеньку, на радость ли и сама-то ввязалась в этот шумный городище, в котором люди днем и ночью бегают и суетятся... Сережа тоже суетится... Его редко видно дома, покажется ненадолго, холодный и скучный, да и спрячется невесть куда! Ласки уж не те, что были... Как были сказаны, например, в тот вечер эти слова: я тебя люблю... Лениво, безучастно... Тем же тоном приказал он и камин затопить. Так ли, бывало, говорилось прежде! Да разве уж это очень давно было: ведь года еще не прошло после того, как сиживали мы по темным, осенним вечерам под тремя соснами на берегу пруда! Где же вы, речи чудные, крепкие объятия, где же вы, поцелуи долгие, что грезились мне наяву и во сне?! Все, видно, времечко унесло... А как он хотел жить, как работать!.. Ох, тяжело, тяжело, как все-то припомнишь, что говорилось, а как посмотришь, что от всего-то осталось, так куда как горько станет...» Слезы застилали ей глаза. Она крепче прижалась головой к холодной каменной стене и машинально-сосредоточенно принялась смотреть на улицу. Там тени и свет, там блеск и темнота; тени людские бегут, тени скрываются; люди, экипажи являются и пропадают, как показываются и исчезают отражения в громадном китайском фонаре.

Резко рисуются белые здания на темном фоне... Тучами задернут месяц...

Не раз уже Маша с восторгом, со страхом и трепетом чувствовала, что скоро она будет матерью. И жутко, и отраднo было ей помышлять о том времени, когда у нее явится дитя. Что ждет его? Как жить они будут? Заменит ли одна любовь любовь другую? Но рядом с этими тревожными вопросами шли думы светлые, успокоительные. Она сделает дитя свое честным работником, человеком не злым. Под словом «злой» Маша понимала не одно известное качество, а много качеств в сходном направлении. «Я буду не одна!» — говорила Маша сама себе, и сердце ее билось сильнее. Но от будущего она опять обращалась к близкому прошлому, к настоящему.

«Эти пять месяцев точно во сне я жила. Что-то будет моим пробуждением?.. Не жалуйся, матушка! Не завидуй! Ты не одна горюешь... Я тоже вот...» — слезы опять покатались по ее щекам...

Так тосковала Маша...

Уплыла Сережина тысяча, за нею последовала и другая. Уплыли они туда же, куда уплывали, уплывают и будут уплывать многие тысячи: уплыла она широкою волной по Невскому и его притокам, по танцклассам, по кафе-ресторанам, у Доминика и Дюссо... Serge'a как холодною водой обдало, когда он в одно прекрасное утро, вынимая из шкатулки деньги, заметил, что у него осталась только сотня рубликов с копейками. Одумался Сережа, протрезвился... Вскоре после того было брошено им письмо в почтовый ящик.

«Нет! Видно, приходится все бросить! Лучше избрать иное: с голода неловко умирать!» — раздумывал он, отходя от почтового ящика, идя по панелям и добросовестно заглядывая под шляпки, что, как известно, составляет обычный предмет ревизии для известного рода пустых тварей, толкущихся на Невском. «С ума я сошел, право!» — решил Свержинский и погнался сперва за серенькою тальмой, а потом за шляпкой с черным пером.

«С голоду не умрет! — утешал он сам себя, кончая обед и допивая рюмку шато-лафита. — Ей-то работу легче найти, чем мне... Да! Взять в Тиноводск ее положительно нельзя: и та-то история, думаю, чуть-чуть забылась... Определюсь служить, помогать и оттуда могу... Странное дело!.. Конечно... Шампанского!» — закончил он уже вслух. В бокале запенилась шипучая влага, и участь Маши была решена.

Через две недели получен желаемый ответ на письмо: блудный сын призывался в отчий дом; ему все прощалось, все забывалось, ему сулили прекрасное местечко; его ждали с нетерпением... Serge предугадывал уже содержание письма и тут, увидев, что все совершилось как по писаному, был доволен своею проницательностью, чувствительностью родителей и мысленно гладил себя по голове.

Около этого времени раз за чаем Serge расфилософствовался о том, что чувство не птичка, его не

удержишь; что развитому человеку ревновать не подобает и т. д.

— Встреться, например, тебе достойный человек, — сказал он Маше, — я благословлю и тебя и его! «Еще бы! — невольно мелькало в его голове. — Потешился, и довольно! А зачем же прежде не объяснял этого?» Больно язвили его эти жестокие проблески какого-то назойливого чувства.

«Он меня разлюбил и хочет избавиться от меня!» — с отчаянием подумала Маша.

— Тебе не жаль меня, я вижу... ты меня обманываешь, ты идешь окольной дорогой... А я все еще люблю тебя... чувствую, что люблю... — пробормотала она невнятно и, опустив голову, тоскливо поглядела на свою работу: простая девушка хотя и не доросла еще до сознания тех великих истин, что так охотно брался проводить на практике ее милый, но видела ясно, что эти великие истины, о которых прежде умалчивалось, не что иное, как маска для Сережи.

Свержинский и на этот раз отделался какими-то пошлыми уверениями. Маша чувствовала, что перестает уважать этого слабого, фальшивого, двуличного человека, и — странно! — этот человек-тряпка все еще был для нее дорог, мил по воспоминанию, по прошлому: она все еще смешивала Сережу, сбиравшегося на борьбу, с Сережей, тщательно устранявшимся от боя... Она любила в нем тиноводского Сережу, помогшего ей выбраться из грязного болота, и презирала, жалела Сережу петербургского, Сережу-пустозвона...

Однако как ни был легко сложен Сергей Свержинский, как ни мелочна, как ни тщедушна была его жалкая водянистая натура, но, уходя в последний раз из своей квартиры и целуя крепче обыкновенного Машу, он почувствовал, что в нем зашевелилось что-то доброе, старое, что заставило его подать руку бедной женщине. Сильно забилося его сердце, когда Маша, провожая его, спросила: «Ведь ты ненадолго? К обеду будешь?» Он взглянул еще раз ей в глаза: голубые глаза смотрели ласково, но грустно. Да, это те же глаза, в которых некогда Сережа читал для себя блаженство райское, которые для него сводили небеса на землю. Опять злые мысли пробежали в голове: «Бедная, бедная!

Оставляю тебя на распутии... Вспомняешь ты меня... добром ли?»

— Ты ненадолго! — повторила девушка, стоя в дверях и опираясь о косяк рукою.

— Буду... скоро... — проговорил Свержинский, худо уже владея собой, и, накинув наскоро плед, стал спускаться с лестницы. «Прощай!» — раздалось ему вслед сверху. «Прощай!» — пробормотал он, словно про себя, и выбежал на подъезд...

Третью ночь Маша глаз не смыкает: все ждет не дождется Сережу. Измучилась...

Опять стоит Маша у окна и смотрит в него тоскливо.

— Письмо к вам, сударыня! — вдруг раздается за нею.

Человек на подносе держит письмо, запечатанное голубою облаткой.

Маша судорожно разрывает конверт. Послание гласит: «Добрая, бесценная Маша! Я скрывал от тебя: дела мои были очень плохи. Я уезжаю. (У Маши в глазах потемнело, она опустилась в кресло.) Я не предлагаю тебе ехать со мною потому, что ты сама не захотела бы возвратиться в тот омут, куда меня толкает моя злая судьба. Не открывал я тебе моего намерения оставить Петербург из боязни, чтоб прощаньем еще пуще не растревожить тебя. В бюро я оставил 25 рублей, — это твои деньги. (Почтовый листок задрожал в руке Маши, как будто бы она держала страшную тяжесть.) Каждый месяц сверх того я стану высылать тебе; сообщи только свой адрес. За полмесяца заплачено вперед за номер, живи! Может быть, скоро увидимся. (Рука задрожала сильнее.) Прости, мой дружок, за все огорчения, которых невольною причиной был я. Прощай же, прости. Целую тебя. Твой С. С.

Р. S. Как мне было тяжело в то утро прощаться с тобой, как мне было жаль тебя, Маша, — ты не поверишь?..»

Как дым рассеялись и скрылись чудные видения, и Маша вдруг очутилась одна...

Всю ночь Маша тяжело рыдала, уткнувшись в подушку, омоченную слезами, сердце ныло, темные предчувствия томили Машу, так, в слезах, и заснула она уже на рассвете.

После пробуждения опять первая мысль была о нем, о миллом... Каждая безделушка напоминала ей о пережитом счастье, каждая вещица громко ей говорила о Сереже, рассказывала целые сцены из недавнего прошлого...

Когда же миновал первый, тягостный взрыв отчаяния, близкого к безумию, Маша бросила взгляд вокруг себя. «Он увез меня из Тиноводска, — раздумывала она, — вырвал из грязи... Но вырвал и бросил! Зачем ему было лицемерить, притворяться до последнего часа! Он — ученый такой, умный, знающий все — сказал бы мне по крайней мере, что должно делать, куда идти! Лживый Сережа... Он первый меня приглубил, первый... да. А потом этот последний предательский поцелуй, поцелуй Иуды, — с чем его сравнить!.. Я одна...» — но тут Маше являлась страшная и отрадная мысль. Она бледнела, сердце сильно билось. «Дитя мое, дитя мое! — восторженно и тоскливо зывала она мысленно к невидимому. — Что я тебе дам? Все, все отдам тебе, сиротке без отца!..»

А теперь надо что-нибудь предпринять, приложить к чему-нибудь свои руки и обеспечить себе хоть какое-нибудь существование... О возврате назад нечего и думать. И переехала Маша в Щербаков переулок, в довольно грязную каморку, ходившую за два рубля с полтиной. Одно окошечко, упиравшееся в стену соседнего дома и выходившее на заднюю лестницу, не слишком много пропускало света. Хозяйка попалась женщина ловкая, умеющая из всего сок выжимать.

Анна Перфильевна, женщина лет сорока пяти, среднего роста, курносая, с желтым лицом и быстро бегающими серыми глазами, суетливая до крайности, представлялась Маше хорошою, энергическою хозяйкой. Хозяюшка скоро сошлась с Машей на короткую ногу: она нередко обращалась к постоялке с просьбой сшить что-нибудь, скроить, пришить, в чем Маша, имевшая и свою работу, за которую, сказать кстати, ей платили очень недобросовестно, не отказывала никогда и исполняла просьбы, конечно, безвозмездно. Анна Перфильевна с своей стороны, бывая с Машей наедине, заводила речь о «женишках», но Маша отказывалась от обязательно предлагаемых услуг. Станным, загадочным явлением казалось девушке то, что как ни была

ласкова хозяйка с своими жильцами, большая часть из них расставалась с Анной Перфильевной вследствие ссоры. Мягкосердечная хозяйка слезно жаловалась и все собиралась бросить «эти заведения», то есть содержание квартиры. К хозяйке нередко собирались гости, ее лучшие, искренние друзья, и в таких случаях Маша получала приглашение. Но дикарка жилищка только благодарила и, удаляясь от веселой компании, уединялась в своей комнатке, в которую никогда: ни утром, ни вечером, ни зимой, ни летом — не заглядывало красное солнышко и сырость лежала на всем.

У Маши было времени раздумывать о своем невестом бытѣ-житѣ: ведь заняты руки да глаза, а голова без дела... И ждала Маша в страшном томлении, с замиранием сердца, со страхом и мольбой того часа, когда станет матерью...

— Марья Васильевна! — раздался раз вечером за дверью голос Анны Перфильевны. — Вы не работаете ли?

— Да, работаю, — отвечала девушка. — А вам что угодно?

— Да ничего-с! Ко всеношной уж отзвонили...

— Дометать немного осталось, скоро кончу! — отозвалась Маша.

— Кончайте-с да идите-ка посидеть ко мне.. что однем-то... — с расстановкой проговорила хозяйка.

— Заработались, милочка, заработались! — обратилась ласково Анна Перфильевна к Маше, когда та появилась на хозяйской половине. — А я только что о вас думала...

— Что же вы думали обо мне? — спросила Маша, улыбаясь.

— Жизнь-то ваша вот такая скучная! Что уж это, прости господи, за жизни! — запричитала хозяйка, с состраданием взглядывая на девушку.

— Что за скучная, Анна Перфильевна! Скучать-то некогда, да не всем же и веселиться.

— Так-то так, матушка! — перебила хозяйка. — Это что и говорить... Конечно... да ведь, известно, какие еще ваши лета! Помилуйте! Пристало ли вам так жить... Уж вы извините меня, я попросту... Уж, пожалуйста...

— Напрасно, Анна Перфильевна, вы так говорите! Я, право... — Тут Маша, не прибрав выражения, вспыхнула и смутилась.

— Работой-то ведь немного выручил! — уже нахально ввернула хозяйка.

— Сколько выручу, столько и проживу: по одежке протягивай ножки... — возразила девушка, перебирая конец скатерти, покрывавшей стол: не нравилась ей Анна Перфильевна в те минуты, очень не нравилось ее к ней сострадание...

— О-ох-хо-хо! В ваши-то годы... — начала было с глубоким вздохом сердобольная Анна Перфильевна, взглядывая на раскрасневшееся личико Маши.

— Да что вам дались мои годы! — перебила ее та.

— Ах вы, моя родная! Бедность-то, недостаток-то до чего не доведет! Конечно, не приведи бог, это что и говорить... да ведь все может случиться... Теперь вот так живете — в конурочке такой, недоедаете, недосыпаете, а ведь не ждешь — не гадаешь, может и горше придется...

Как зловещие предсказания, повеяли на Машу эти слова, но она пересилила неприятное впечатление и с улыбкой сказала:

— Что вы меня страшаете! Может, и выживу что-нибудь хорошенькое, почем знать... Поправлюсь: силы есть, работать буду... И есть и спать стану вдоволь...

— Дай, бог, дай бог! А я, знаете... просто вам скажу... — При этом хозяйка наклонилась к ней на ухо и вкрадчиво принялась что-то нашептывать... Слышно было — речь шла о каком-то «хорошеньком и богатеньком»...

Маша отшатнулась, ничего не промолвила... А хозяйка холодно отодвинулась, как особа, «не солоно хлебавшая», посмотрела вскользь на Машу и скрылась по хозяйству...

Маша ушла к себе; тем вечер и кончился...

Несказанно удивилась Маша, когда, возвратившись в праздник от обедни, она нашла свой сундучок пустым и все свое маленькое имущество расхищенным.

— Меня обокрали! Все утащили, все... даже и чужую работу! Господи! Да что же это такое?! — в отчаянии говорила девушка самой себе, обводя глазами комнату. — Анна Перфильевна! Анна Перфильевна! — звала она хозяйку, отворяя дверь и выходя в коридор.

— Что матушка? Чего угодно? — отозвалась та из кухни.

— Меня обокрали! Все растащили... Посмотрите!.. —

крикнула бедняжка, чуть не плача от праздничного сюрприза.

— Как? Что вы говорите, Христос с вами! Что у вас украли? — затараторила хозяйка, показываясь в коридоре с засученными рукавами, вся в тесте и муке.

— Почему я знаю — кто!.. Все у меня украли, все... — повторяла Маша, идя за хозяйкой в свою опустошенную каморку.

— Заперто у вас было? — спросила та с озабоченным видом жилищу.

— Как же! Я постоянно запираю, когда ухожу.

— Вот так чудно, право чудно!.. Гм! Я-то ведь тоже у обедни была... — начала хозяйка, почесывая плечо. — Квартиру заперла, как пошла... никого нѐ было и дома-то! — продолжала Анна Перфильевна и так тщательно ревизовала каждую щель, как будто бы подозревала в воре способность пролезать даже в такую щелку, через которую и мышь с трудом просунет мордочку. — Вот уж штука, так штука!.. Гм! История, ей-богу, история! Тьфу ты, оказия!.. — удивлялась все более и более хозяйка.

— Что же мне-то теперь делать? — проговорила Маша, смотря растеряннo на хозяйку, а та промычала что-то себе под нос, смела со стола хлебные крошки, собрала их в кулак и, утомившись бесплодными поисками, удалилась восвояси, заглянув предварительно в нетопленную печь.

Долго, безмолвно просидела Маша над своим пустым сундучком, глядя на его изломанный замок. Тут хранился флакон с остатками духов, как воспоминание о Сереже, о светлых днях... тут в желтенькой чайной бумаге была завернута карточка Сережи; тут в уголку стоял маленький образок, который Маша унесла из родного дома, образок простой, старинный, почернелый, без всякой ризы... Нередко, перебирая в сундуке, брала она его в руки и всматривалась в полустершийся лик... Тут лежало и серенькое платье, которым некогда любовался он... Тут много было кое-чего дорогого, заветного для Маши, — и вот все это вдруг кому-то понадобилось, все это взяли у нее — ее последнее достояние!

Встав поутру с тяжелой головой после мучительно проведенной ночи, Маша отправилась на толкучку. Долго бродила она туда и сюда со своею хорошенькою шубкой,

стоившей недавно шестьдесят рублей, и наконец продала ее за двенадцать целковых одному молодчику, сильнее других божившемуся, что шубка и того не стоит.

— Вы мне рублик-то должны... помните, брали? — встретила ее хозяйка.

— Вот вам рубль, а с квартиры я съезжаю! — объявила Маша.

— Да вы куда же? Что вы! Если у вас недостает, так можно и подождать, сочтемся, храни бог... — предлагала обязательно Анна Перфильевна. — Если вам денег нужно, так я могу снабдить... немного-то у меня найдется... Все, знаете, по людям больше роздано... Много роздано... Так-то-с! А съезжать вам для чего? Что вы, что вы, Марья Васильевна! Да и как вам не стыдно, право...

— Нет, уж я найму подешевле... — стиснув зубы, проговорила девушка: зло и досада разбирали ее. Ей отвратительны, гнусны показались теперь все эти люди: хозяйка услужливая, до приторности ласковая, и ее частые посетители, ее грязные гости... От них она готова была убежать хоть на край света; бедная не знала, что человек — везде человек, что везде от него Маше подчас приходится плохо.

— Не угодно ли вам, Марья Васильевна, с нами кофейку откушать? — спросила через дверь хозяйка, немного времени спустя после прихода Маши с толкучки.

— Благодарю вас, не хочу! — был отрывистый ответ.

— Как угодно-с! — пискнула Анна Перфильевна, улетучиваясь.

Маша переехала на другую квартиру. Теперь перед ней лежали два мира...

Один блестящий, веселый и шумный: тут живет довольство, живут тихие радости семейного очага; живет роскошь, нега и наслаждение; тут поют песенки, благодушествуют; тут пользуются услугами наук, искусств, ремесл; тут являются от поры до времени очень добрые, очень образованные люди... Но дорожка в этот мир запала для Маши. Куда же пойдет она?..

На другой день начала Маша устраиваться на своем новом пепелище. Это был «угол». (Под этим словом темный петербургский люд разумеет буквально угол, разыгрывающий роль квартиры.)

Приютилась Маша в Болотной улице, в подземном этаже одного старого, грязного дома. Тот апартament, где ей, собственно, привелось поселиться, состоял из большой, квадратной, низкой комнаты, разделенной двумя поперечными перегородками, сходящимися крест-накрест под прямым углом, и вмещавшей в себе таким образом четыре отделения, соединенные между собою открытыми дверями. Каждое отделение, значит, имело четыре угла, а каждый из шестнадцати углов составлял квартиру и отдавался известному лицу или даже и целой семье внаем гривен за семь в месяц: цена подобным помещениям устанавливается, смотря по той части города, где обретаются «углы». Такое убежище у петербургского класса пресмыкающихся именуется «углом».

Пыльно, грязно, сумрачно, сыро и вообще скверно было в тех «углах», где пришлось жить Маше. Небольшие окна с глубокими амбразами немного пропускали ясного света во внутрь мрачного подземелья и верхними своими частями поднимались лишь немного выше уровня земной поверхности, вследствие чего из них весьма удовлетворительно были видны взбитые камни мостовой, панели, наклоненные тумбы, мелькавшие ноги пешеходов и лошадиные подковы. Миазмами пропитанный, душный воздух носил уже в себе все благоприятные задатки холеры, тифа и всякой иной губительной заразы.

Маше отвели помещение в передней клетке, неподалеку от входной двери. В углу положены были три доски на невысоких обрубках — это кровать, стол, стул, все, что угодно, вся мебель в совокупности. Доски, прилежавшие к ним, части двух перекрещивавшихся перегородок, местечко на полу около досок, на пространстве двух-трех половиц, составляли Машину квартиру, далее шло *ager publicus*¹. Впрочем, должно заметить, что с открытой стороны в квартирах фактических границ не существовало: границами служили геометрические, то есть умственные линии. Против Машиной квартиры угол оставался не занят, потому что в нем возвышалась дымная печь с перетрескавшеюся вдоль и поперек плитою и закоптелою настолько, насколько представлялось к тому физической возможности. Изломанная корзина с сырым

¹ Здесь — общая территория (лат.).

угольем постоянно валялась у ее отверстия, лишенного заслонки.

В углах по большей части царствовала тишина, но то не была самодовольная, приятная тишина отдыха и покоя, то была тяжелая тишина болезни, голода... Временем по углам поднимается кое-где ленивый говор, чаще прорывается ругань, но звуки опять же скоро и стихают... Сюда люди словно сошлись на перепутье по дороге от жизни к кладбищу или к сибирским рудникам.

Vis-à-vis¹ с печкой, в одном отделении с Машей, обитали муж с женой. Эта злополучная парочка надрывала сердце Маше. Муж — «чинаш бога нашего», как звали его жильцы, какой-то отставной чиновник, пьяненькое, несчастненькое существо, с вечно подвязанною щекой, бессловесное, жалкое; днем его дома не видать, да и ночью-то он редко заходит, и так как о его местопребывании никто никогда не осведомляется, то оно и остается в полнейшей безызвестности. Жена — болезненная, чахоточная женщина будит по ночам Машу своим страшно удушливым кашлем и хрипением; жильцы прозвали ее «дохлою».

— Вам бы напиток какого-нибудь грудного чаю! — сказала раз ей Маша поутру.

— Какой тут чай! перекусить-то хоть было бы что... Вот еще... чай! — пробормотала больная, насупившись, поправляя рванный войлок, заменявший ей постель, и точно негодуя за что-то на Машу; но тут же закашлялась, покраснела, слезы брызнули из глаз, а на губах показалась кровавая пена.

Машу покорило.

В другом углу, против Маши, проводил дни свои в уединении и посте какой-то провинциальный актер без места, донашивавший гамлетовский плащ. Он по ночам часто пугал Машу.

— Проклятие! Проклятие отныне и до века! — грозным голосом вскрикивал отставной Гамлет, вероятно воображая себя на театральных подмостках перед лицом благосклонной публики.

Иногда же во сне, сквозь зубы, но очень ясно, распевал он сладчайшим тенором разные водевильные куплеты и чаще один из них, начинавшийся словами:

¹ Напротив (франц.).

Вот формуляр всех ваших штучек!
Сперва вас прапорщик пленил,
За ним, по рангам, подпоручик,
Затем поручик полюбил!..

Исполнял ли он этот куплет лучше прочих, связывалось ли с ним какое-нибудь милое воспоминание, — неведомо... Только как бы то ни было, благодаря частым ночным репетициям, почти все жильцы уж знали наизусть «формулярчик».

В одном из углов заднего отделения помещалась мать с дочерью. Мать, женщина часто пьяная, всегда грубая и никогда не умытая, не приглаженная и не одетая как следует, чуть не ежедневно колотила свою пятнадцатилетнюю черноглазенькую Соню и без малейшего стеснения поносила ее самыми площадными ругательствами.

— Отчего не пойдешь? Ну, говори: отчего не пойдешь, анафема ты этакая! — шипела мать однажды вечером, слышала Маша.

— Он старый, больно дерется! — отвечала Соня. — И в тот раз бутылкой так по спине хватил... просто насилиу вздох перевела. Как осерчает, так точно леший какой!..

В остальных углах таились более или менее темные личности.

Вот в таком-то вертепе страданий, нищеты, немочей и разврата очутилась Маша, сходя все ниже и ниже по житейским ступенькам. Думы, темные как тучи, облегли Машу, и сквозь эти тучи, как ясный луч света, пробивалась одна отрадная, блестящая мысль. Ночью, впотьмах, ворочаясь на своей жесткой постели, больная и слабая, молясь и отчаиваясь, Маша вперяла свой взгляд в непроницаемый мрак сырого подземелья, словно надеясь увидеть там что-то, а сухие, горячие уста шептали все одно и то же: «Дитя мое! Дитя мое!» Дитя для нее будет ангелом, предвестником лучших дней... Дитя милое, единственное дитя, скрасит для нее нерадостную жизнь, светом надежды и добра осветится ее тернистая тропинка жизни. Не одна она будет... Как она полюбит свое родное детище!.. Праздникам праздник будет тот день, когда оно, давно желанное, явится утешителем Маше!.. Маша, конечно, отыщет работу; Маша станет холить свое дитя, унесет его из этого грязного жилья, подальше от этих страшных людей, от этих несчастных,

голодных, холодных людей... И вот уже услужливое изображение рисует Маше картину за картиной, одну другой лучше, ярче, светлее... Маша в чистенькой, теплой комнате, живет припеваючи, много работает, зашибает денежку... Устала она, — играет с *ним*, со своим ненаглядным... Милая крошка! Своей маленькою ручонкой он треплет волосы Маше, глазенки блестят... О радость — крошка... Вот засыпает малютка, Маша глядит на спокойное, беззаботное личико, и сердце ее бьется ровно и довольно... Счастлива Маша!..

Серый, плачущий октябрьский день темнел все более и более, намереваясь перейти в холодную ночь. Актер, стоя на коленях перед своею постелью, писал что-то при дрожащем свете сального огарка, ворчал себе под нос, жаловался на перо, а от поры до времени принимался насвистывать «Близко города Славянска»; но вдруг пламя так сильно заколебалось и заметалось из стороны в сторону, что не оставалось никакой возможности при таком фантастическом освещении продолжать начатую работу.

— Что у вас там? Окно, что ли, где открыто? — спросил безразлично всех окружающих заштатный Гамлет, выпрямляясь и обводя глазами апартаменты, погруженные в тьму.

— Ничего не открыто!.. Щели-то на что! Вон какие фортки славные!.. — отвечал сиплый женский голос.

Маша лежала на своей постели, закрыв глаза; слабость одолевала ее, а тревожные мысли роились в голове, не давали ей покоя, не давали сна.

Между тем в одном углу темненький человек зажег ночник и стал рыться в своей рухляди, отыскивая что-то, а пьяный старик нищий поднял страшную руготню и тем собрал около себя кружок теней-слушателей...

Маша чувствовала себя очень дурно: она дрожала, как в лихорадке, каждый звук волновал ее, причиняя ей невыразимые мучения. Ее тяготил шум, поднимавшийся иногда по углам, ее страшила тишина, наступавшая за этим шумом.

В одном из уголков кто-то шепотом передавал другому свои дневные похождения.

Актер загасил оплывший огарок и улегся на свое жалкое ложе. Соня ушла куда надо, горько плача, прогнанная матерью... Мать ее во сне призывала всех чертят и дьяволят... Жильцы «угловые» погузились

в тревожный сон, и безмолвие нарушалось только храпением и хрипением спящих, завыванием ветра за окном и в трубе, да шумом дождевой воды на улице, стекавшей из труб... Ночь в подземелье.

Не спит одна Маша: она лишена последнего утешения — сна, даже такого сна, каким пользуются другие несчастные... Маша страдает, Маша томится... Мысль ее путается: то ей живо представляется памятный осенний вечер под тремя соснами, вечер, когда она сквозь слезы страстно целовала Serge'a, трепетала в его крепких объятиях, умоляла его, страшилась, хотела бежать и осталась... То вдруг с чего-то приходит ей на память евангелие, которое она еще читала дома, в Тиноводске... читала она его под вишней... Запомнилось ей необычайно ясно то место из него, где описывается тяжелая ночь, которую проводил Иисус в саду с своими учениками... Он молится, апостолов одолела дремота, а там меж деревьев уже мелькают огни, — идет Иуда... То является Маше лицо старухи Васильевны: старуха грозит, жалеет ее, упрекает... Пьяная мать и старый Игнатъич, — и вдруг подобострастная, гадкая Анна Перфильевна... Маша стискивает голову руками... Какая ночь!.. Но пробыл час, роковая минута наступила, мучительная и своим одиночеством и страхом в первый раз испытываемых мук. По временам слышались глухие стоны, мольбы и горячечный бред... Наконец раздался резкий, детский крик.

Кто-то в соседнем углу завозился и впросонках промычал: «Леший!» — и опять все смолкло.

Утро, тусклое, туманное, рассвело, глянуло в окна подземелья... Маша сидела, склонившись на постели, и укутывала своего новорожденного мальчугана. Малютка разевал ротик, щурил глазки и всхлипывал, слабо, тихо, немощно...

Жильцы еще не поднимались. Большая чиновница изредка стонала, ворочаясь на кровати. Ветер по-прежнему выл, и дождь не переставал.

Маша плачет и целует сына...

Наутро собрались к ней жильцы; судили, рядили, давали советы... «В «Воспитательный дом», говорят, ото-слать надо... — раздумывала Маша, оставшись одна. — Хорошо им говорить это, легко, а мне-то, мне-то каково!.. Ждала я, ждала, и вдруг бросить, отдать, не зная куда!

Нам, нищим, и детей-то нельзя держать, и последней-то возможной на земле отрады мы должны лишиться... Мы кормить их не можем!..» Бедная мать ломала руки в отчаянии. Но вот с умилением взглядывает она на сына, и мысли утешительные, славные мысли, теснятся в голову, вытесняют прежние злые, докучные думы... «Он друг мне будет! — говорит Маша сама себе. — Я дала ему жизнь, я дам ему силы, я сделаю для него жизнь хорошею: я буду работать, биться изо всех сил, буду есть вполтину, спать урывками, выращу, выхолю его, — и не отдам я им моего сына...» Мать смеется и плачет, глядя на спящего малютку. «Только бы здоровья достало, сил хватило, все вынесу, все вытерплю!..» Тут с горячею мольбой взор ее поднимался к почернелым сводам подземелья: эти мрачные своды не останавливали его, он рвался выше, летел к небу... Так и радуются и молятся в этих грязных углах! Да еще как молятся... Молятся ли так в фешенебельных молельнях, в раззолоченных храмах?!

Бедная Маша! Как ни искренно было ее желание тотчас же приняться за работу, но привести его в исполнение она, больная, слабая, едва передвигавшая ноги, не могла... Дух бодр, плоть же немощна...

Прошло три недели, — у Маши денег нет... За квартиру за полмесяца не из чего отдать тридцать пять копеек!.. Хозяйка грозит и хочет прогнать ее... Через силу Маша подымается с постели и идет к кухарке купца Савина, добывает стирку белья, стирает, везет на реку, дрожит от ветра, а вечером приносит домой сорок копеек... Тридцать пять копеек отдаются хозяйке, — пять копеек остается на продовольствие... Мало копеек, — где же их взять?

Потом удалось Маше где-то полы мыть... Вот она опять сидит на постели у своего сынишки и пересчитывает медные деньги на ладони. Вот берет она свой кожаный мешок и роется в нем: не завалился ли как-нибудь грошик... Пуст мешочек, — Маша вздыхает и глядит на копейки... Какая же она стала ныне жадная, корыстолюбивая!.. Маша думает: нельзя ли купить ваты и сшить сынку своему теплое одеяльце... Но как она ни ухитрится, денег все недостает... Вот почему Маша выворачивает кожаный мешочек и так внимательно перебирает в руке медь.

Последние копейки уплывают, а работы — нет: все просят рекомендации, спрашивают: в каком магазине, где да у кого прежде шила, чем занималась... А малютка плачет, зябнет, и собственный аппетит силен, здоровый желудок исправно работает и требует пищи, и требования, им заявляемые, так скромны, так настоятельны и логичны, что не удовлетворять им — невозможно... И начинает бедная мать сознавать, что голод и холод дурные советники и могут на многое натолкнуть человека. Конечно, это «многое» являлось ей еще неясно, в неопределенных, смутных образах, но все-таки уж от него не добром веяло...

Много провела Маша бессонных ночей, дней беспокойных, тревожных, тоскливых... а умные люди говорили и говорили хорошие речи...

В одном магазине ей обещали работу и просили ее навеститься в пятницу. Пятниц после того прошло много, работы Маша не получала. Невыносимо тяжело было ей, когда она возвращалась в одну из пятниц со своих неудачных поисков. Не радовал уже более Машу блестящий, «развеселый» Петербург. Она не засматривалась на его великолепные памятники и статуи, на его огромные дома с зеркальными окнами, с лестницами, покрытыми коврами и уставленными зеленью; не любовалась она на красоты столицы: холодом веяло от этих красот на нее... Идет Маша и выходит на Невский, на тот знаменитый рынок, где можно продать и купить все: чудесный сервиз, шикарное платье, изящные сапоги, развратную душонку и красивое тело...

На эту выставку, на этот рынок явилась Маша вечером одного довольно холодного ноябрьского дня, когда истасканный бурнус плохо защищал ее от пронизывающего насквозь ладожского ветра. На бледно-голубом небе выступали уже звезды, и очень красиво горели золотые огни фонарей. Шумно илюдно было на улице, как и всегда. Смешно и жалобно плакала где-то шарманка. Маша вчера доела последнюю сухую корку хлеба, завалившуюся у нее между тряпками в узелке, и поэтому теперь с особенным чувством, долго и пристально всматривалась она в освещенное газом окно булочной, где с изящным разнообразием были расположены

на благосклонное внимание публики воздушные и полу-воздушные печенья, вкусные булочки, сахаром осыпанные, и хлебцы сытные, и все такое чрезвычайно заманчивое для голодного желудка. Маша поглядела в окно, как бы проверяя мысленно: стоит ли ради того, что она теперь видит, идти на рынок и продавать себя, свой покой, свое будущее, все и все... Завернувшись плотнее в бурнус, раздуваемый порывами свирепого ветра, Маша пошла далее... туда... а ветер мешал ей идти, не давал ей дороги, словно отталкивал...

«Теперь Коля плачет дома, — мелькало в голове у Маши, — холодно ему, бедному, дует на него отовсюду, никто его не пригреет, не пожалеет: двери, может быть, настежь стоят... А есть-то как хочется!.. Господи!..» Маша была действительно очень голодна, дрожала от холода и мучилась за свое детище, которое она с трудом прокармливала своим скудным запасом молока. Ей страшно было просить милостыню: «Как подойти? Как сказать? Да разве преступление, что я бедна и умираю с голода со своим Николаем, а те — богаты, и сыты и довольны!.. Но как взглянуть на людей? Как они взглянут?.. Но опять-таки, разве не могу я попросить их уделить мне какие-нибудь крохи от их достатков? Я должна работой доставать хлеб, скажут... А работы мне нет!.. Худо ищешь, скажут... Ноги болят от ходьбы...» Такие вопросы и возражения возникали в ее голове, когда шла она по «большой улице».

Какой-то господин в бекеше стоял против окна магазина и любовался на выставленные ландшафты. Маша несколько раз уже подходила к нему, порывалась, но подойти не могла. То остановится она сзади его и тоже будто бы глядит на живописные ландшафты, на изящные группы, а сама дрогнет от холода; из-за уличного шума ей слышится тихий плач, жалобный, ноющий, надрывающий сердце, ей видится ее Коля, посиневший от холода... То пройдет Маша дальше и остановится... «У него, кажется, лицо доброе!» — рассуждала она. «Попрошайка, попрошайка!» — мелькает укоризненно в голове. Но вот господин в бекеше, по-видимому, собрался идти далее, — медлить нечего... Сердце сильно, сильно забилося в груди Маши, в голове застучало...

— Помогите, господин, больной... ребенок малень-

кий! — проговорила Маша, а зубы стучали, и кровь приливала к лицу.

Господин, ничего не отвечая, вскользь поглядел на Машу, искал в боковом кармане и, проговорив вполголоса: «Мелких нет» — заложил руки в карманы и удалился мерною поступью, поступью человека довольного, самостоятельного, чувствующего почву под собою и в то же время готового помочь ближнему, если бы «были мелкие»...

Маша закусила губы, чтобы не заплакать, завернулась в бурнус и поникла головой. Затуманились ее милые, задумчивые глазки.

Вот идет молодой человек, худощавый, с глубоко впалыми глазами, с волосами длинными и с палкой в руке. Идет он тихо-тихо, понурившись, видно раздумывает о чем-нибудь. Почему знать, может быть, этот юноша думает о несчастном, придавленном человечестве... «Этот пожалеет! Этот еще не заплыв жиром...» — думает бедная мать, следя за юношей. Маша приблизилась.

— Помогите, Христа ради! — трепещущим, прерывистым голосом сказала она.

— Самому есть нечего! — жестко, угрюмо проворчал юноша, не подымая даже головы, и еще сердитее, сосредоточеннее стал смотреть на плиты панелей, по которым шел. Шаг его ускорился, палка застучала по камням. «Этот бы и дал, да у самого, видно, ничего нет!» — решила Маша.

Девушка сжала губы и взгляд скорби, взгляд отчаяния бросила с немым упреком на небеса: небеса были звездны, ясны и холодны...

Когда она поравнялась с одним из многих фонарей, ее обогнал какой-то франтик, искоса посмотрел на нее, убавил шаг и вдруг подошел к ней смело и развязно.

— Позвольте с вами пройти? Вечер отличный!.. Не хотите ли прокатиться? Заедем куда-нибудь... закусим! Да? — Все это было проговорено полунебрежным, полувкрадчивым тоном.

Маша молча перешла на другую сторону панелей. «Господи!.. Коля мой бедный!» — шептала она, ускоряя шаг.

— Ну что же? Поедем, что ли? — продолжал между тем охотник до катанья.

Сильный порыв ветра налетел на Машу и обдал ее холодным, сухим снегом и пронизал насквозь.

— Поедем! — проговорила она, чуть-чуть не задыхаясь от усталости и волнения.

Саночки быстро понесли Машу вдоль «большой улицы». Скоро извозчик остановился у освещенного подъезда.

— Выходи же, беги! — обратился господин к Маше, рассчитываясь с возницей.

— Я не могу... я больна! — пробормотала Маша и словно во сне выскочила из саней и бросилась бежать прочь от освещенного подъезда, как будто бы за ней гнались какие-то темные духи, которые хотели воротить ее и ввергнуть в преисподнюю, где раздастся плач и скрежет зубовой.

Убежала Маша.

Пришла она в свой «угол», — и там худо, и там невыносимо. Маленький Коля жалобно хныкал, ежился от холода. Утомленная, разбитая, Маша села, схватила его, прижала к груди и старалась согреть бедняжку. Дитя как будто действительно успокоилось на груди матери и скоро задремало, не предчувствуя, не угадывая, что за ад бушевал в той груди, к которой прильнуло оно, вытягивая последние капли молока. Несчастной матери порой казалось, что она недостаточно любит Колю, это беспомощное существо, недостаточно самоотверженна для него, слишком эгоистична и холодна: ей казалось, что Коля, если бы знал все, обвинил ее в бесчеловечии... То ей казалось, что если бы Коля понимал, он оправдал бы свою горемычную мать и счел бы себя несчастным, если бы мог быть невольным виновником ее падения. И судорожно прижимала она к груди просыпавшегося Колю и со слезами укачивала его на руках.

На другой день Коля занемог. Он в жару, он весь горит, бьется, плачет, надрывает сердце Маши. Но если Маша прежде не могла бросить его, свое сокровище, в «Воспитательный дом»; то как же теперь, когда она уже к нему привыкла, когда стала считать его своим, откажется от него, отречется от него, когда он болен, еле дышит!.. Нет! Это уж сверх ее сил!.. Когда она глядела на страдания безгласного, беспомощного милого существа, Маша чувствовала, что сердце ее рвется на части и голова идет кругом... Рассудок мутился. Физическая

боль от голода и холода расплывалась в боли сильнейшей, в нравственной боли. Металась, металась Маша и пришла к тому же...

Она отправилась вечером из дома, воротилась поздно с краюшкой хлеба и в сопровождении медика-студента. Медик осмотрел Колю, прописал ему какие-то капли, посоветовал Маше переменить квартиру, с любопытством обозрел «угол», выкурил папироску и ушел. Наутро у Коли явилась шубка, явились капли; вскоре после того у Коли завелось и одеяльце тепленькое и теплые чулочки, а немного погодя Колю перевезли в маленькую теплую комнату и положили на мягкую постель...

Но не даром прошла Маше такая жизнь. Маша похудела, подурнела, опустилась, в два месяца постарела на пять лет. В ее манерах хотя и уцелела прежняя порядочность, но вместе с тем в них появилась небывалая резкость, грубость и жесткость. Глаза задумчиво-тревожные позатуманились и смотрели презрительно-строго, и суше был взгляд их, в былое время такой ласковый и мягкий. Только улыбка прежняя, дивная, милая улыбка сохранилась каким-то чудом в чистоте и полной целости; она так же, как и в былые дни, затрогивала за живое... Эта улыбка становилась еще чище, еще лучше, когда обращалась к маленькому Коле... Так жила Маша, плача, смеясь и голодая, но Коле зато жилось привольно: он спал на мягкой постельке, в теплой комнате, пил хорошее свежее молоко, днем его тешили погремушками. Он был здоров, спокоен, доволен, часто смеялся, наяву и во сне. Вот он бодро прискакивает на руках матери, протягивает ручонки к ее глазам, — ему хочется, видно, схватить, что блеснит там... Малютка весел, ему жилось еще без забот, без тревог, без волнений, которые отравляют ежечасно, ежеминутно людскую жизнь. А у матери надрывалась грудь от жизни каторжной, которую она наложила на себя из любви к жизни и сыну. Болела часто голова, болело изнуренное тело. Горько и тяжело приходилось несчастному созданию, когда какой-то голос принимался ей нашептывать что-то страшное, ужасное, что приподымало дыбом волос и замораживало в жилах кровь: шепот не то припоминал ей минувшее, не то грозил, неотступно требуя чего-то... И чудилось Маше, что в этом шепоте слышалась

грустная сага о том, как в маленьком городке, далеко от Петербурга, была-жила одна девушка с матерью-старухой, как эта девушка гуляла в тенистых аллеях загложшего сада и встретила с кем-то... То в шепоте слышался ей насмешливый вопрос: «А что ты будешь продавать, когда состаришься, когда износится твое тело? Что тогда понесешь на рынок?» Замолкни же ты, дьявольски насмешливый голос! Смолкни, зловещее карканье!

Тяжелою, длинною вереницей тянулись для Маши дни за днями, проходил месяц за месяцем. Одна отрада, одно утешение — Коля! Зато сильно же и любила она его. Она все для него в жертву принесла: здоровье, покой, доброе имя... Он дорого стоил ей, зато же она сильно и любила его.

Раз вечером возвратилась Маша с Невского сильнее обыкновенного расстроенная. Тихо, на цыпочках, подошла она к спавшему Коле, в изнеможении опустилась на пол и приникла головой к его ножкам... Слезы текли по ее впалым щекам, рука судорожно сжимала какую-то смятую ассигнацию, стоны, рыдания поднимались из груди, но Маша давила их; зато неудержимо катились слезы по щекам, смачивая ее пылающее лицо... Губы невятно что-то нашептывали... «Я хочу быть доброю! — говорит она сама себе. — Мне нельзя быть доброю, честною; мне можно быть только такою, вот какова я теперь, мерзкою, развратною женщиной».

Маша заболела и слегла в постель. Как-то однажды попросила она подать себе зеркало, работница подала. Долго Маша глядела в зеркало и вдруг горько заплакала. Тревожная жизнь и наконец болезнь совсем испортили ее личико: пожелтело ее молодое лицо, потускнели ясные глазки, страшно похудела Маша. Девушка отвернулась от зеркала... «Что же теперь будет с моим Колей?» — как ножом скользнуло ей по сердцу. Вздрыгнула Маша... «Теперь у меня ничего уже нет... Он будет расти в нищете и присоединится к той толпе хилых, чахлах детей, из которых так много попадает в Сибирь, а еще больше преждевременно валится в могилу...» У Маши волос дыбом поднялся, когда она взглянула на то, что, по всему вероятию, будет.

Итак, остается опять — «Воспитательный дом».

— Унесите его, голубушка, унесите! Он умрет, умрет! — раздражительно говорила Маша хозяйской работнице и указывала на Колю.

Маша с отчаянием заломила руки за голову и поворочилась к стене.

Старуха скоро собралась и явилась за малюткой.

— Вы уж идете? Идите! — вскрикнула Маша, дрожа. — Нет, постойте! Дайте мне его, дайте мне на него посмотреть...

Маша села на постели.

Старуха подала ей сына. Больная посмотрела на сына сквозь слезы, сын промычал «га-а» и потянулся ручонкой к ее волосам... Маша задыхалась от боли и горя. Опьянев, обезумев от отчаяния, прижала она к себе Колю и смачивала своими горячими слезами его личико, покрывала поцелуями его глазенки, его щечки, его худенькое плечико... Старуха стояла у изголовья и глотала слезы, — у нее дрожали губы...

— Ну, матушка, простились! Что уж тут делать! — нерешительно проговорила она.

— Да, простились! Возьми же его!.. Закрой хорошенько!.. Ножки-то ему укутай!.. Вон какие они холодные... Ой нет, постой! Еще минуточку... — Маша, обливаясь слезами, снова прильнула к своему маленькому Коле, для которого она всем пожертвовала... Куда она отсылает сына? Зачем принимала на душу столько греха из-за него?..

Коля несвязно бормотал: «Га-а... го-о...» — тянулся к матери, дергал ее за серьгу, водил ручонкой по ее щекам, мокрым от слез, и закрывал ей рот...

— Прощай, моя крошка, прости, милочка! Ничего я не жалела для тебя... да и теперь не жалею... радость ты моя!.. — шептала Маша и все-таки не выпускала из рук Колю...

Наконец Коля расхныкался, заплакал, и... оставили его дома, положили спать. Старуха, напрасно обеспокоенная, разделась и принялась за работу. Маша как будто бы успокоилась немного.

Тревожным сном забылась Маша... И видит: мелькают, снуют перед ней оборванные, исхудалые, посиневшие от холода, ноющие существа, ее Коля трется тут же... Вся эта ватага ежится, дрожит, вопит: «Христа

ради!» — теснится к кладбищу и увлекает Колю за собой... «Сколько их, сколько их там! О господи!» — шепчет с ужасом Маша во сне.

Холодный пот крупными каплями выступил у Маши на лбу, когда она проснулась... Этот страшный сон принес решение: на другой день Коли уже не было в комнате Маши, не раздавалось его «га-а», и постельку его вынесли, только розовая рубашонка висела на гвоздике у Машиной кровати...

Коли нет! Маша вдруг ощутила пустоту вокруг себя, ощутила пустоту и в себе самой... Эта мертвенная, беззвучная, беспризывная пустота страшнее всякой иной пустоты...

Маше казалось, что чувства ее притупляются, немеют, что она, живая, уже перестает жить... Сознание такого холодного равнодушия тяжелеет самого необузданного, глубокого отчаяния: оно близко граничило с покоем смерти, с гробовым покоем... Надежда, которую она лелеяла, выращая ее, поливала потом, слезами и кровью, сокрушена, окутана саваном да сырою землею засыпана: ее дитя, в котором были сосредоточены все ее радости, она сама оттолкнула от себя... Ценой чести, сил, здоровья, ценою спокойствия всей жизни покупалось каждое мгновение этого беспомощного, слабого существа!.. Но одна надежда все-таки горит впереди, как погребальный факел. Это — надежда скончания лихорадочно, катаржно прожитой жизни... *А между тем как бы могла быть эта самая жизнь и полна и светла!..*

С приближением весны Маша стала чувствовать себя хуже, стала зябнуть, особенно холодели у нее ноги... Маша слегла.

Когда веселый луч света прокрадывался в маленькое окно ее комнатки, слезы дрожали на ее ресницах... Вспоминала ли она о чем-нибудь в ту пору, раскаивалась ли — осталось тайной. Только можно догадываться, что она видела далее своего окна, видела более того клочка неба, которое просвечивало в окошко... В бреду несколько раз призывала она Колю, называла его своим миленьким, просила прощенья у кого-то, кого-то отталкивала... Но бред проходил, — она оставалась спокойною...

Раз только вечером, когда хозяйка, зажегши свечу в ее комнате и укутав ее одеялом, собралась идти на свою половину, Маша судорожно схватила ее за руку и,

задыхаясь, прошептала: «Ох... не хочется умирать!.. Пожить бы еще!..» — и жалобно посмотрела на хозяйку, словно бы от той зависело продлить иль оборвать ее жизнь. Хозяйка, разумеется, не полезла в карман за утешениями: она выздоровеет... Не такая уж у нее, храни бог, болезнь... Как это можно отчаиваться в ее лета!.. Маша скоро после того совсем успокоилась, — только не от утешений старухи хозяйки...

Ночь проносилась. Сальный огарок в комнате Маши догорал...

И в этот тихий час ночи, когда все покоилось сном, не напутствуемая ничьим благословением, грешница отошла от мира, никем не оплаканная, всеми позабытая...

1868





ТЕМНЫЕ СИЛЫ

Повесть

Посвящается Николаю Васильевичу Шелгунову¹

1

Злая пародия на нечто доброе

В большом губернском городе Болотинске жил еще недавно у церкви Егорья столяр Никита Петров, по прозвищу «Долгий». Уже двадцать лет Никита нанимал две сырые, грязные каморки у егорьевского священника. Дом священника стоял в одном из тех переулочков, которые не мостятся, освещаются только сиянием небесных светил и в которых косматые дворняжки служат по

¹ Посвящения, с которыми мои повести первоначально печатались в журналах, я нашел нужным сохранить и здесь. (Прим. П. В. Засодимского.)

ночам единственными блюстителями общественной безопасности.

Происходил Никита из мещанского сословия и занимался столярным ремеслом. Унаследовав от отца своего столярное заведение, он кое-как кормился им, пополам с грехом прокармливал и свою семью — жену с детьми.

Никите стукнуло уже за пятьдесят, и он выглядел высоким, сгорбленным, вечно понурым стариком, с лицом худощавым и бледным, освещавшимся впалыми серыми глазами. Его задумчивые глаза подозрительно и холодно смотрели на мир, и сияло ли солнце над миром, тучи ли заслоняли небо и нагоняли темноту — глаза его не загорались, не тускли, но по-прежнему недоверчиво всматривались в окружающее, как в стан враждебных ему сил. Вечером, бывало, когда он, по обыкновению сгорбившись и нахмурив густые брови, стоял над станком с инструментом в руке, а пламя сальной свечи колеблющимся, неровным светом обдавало Никиту и его убогое жилье, — тогда можно было подумать, что не тихо, не довольно, не мирно протекла жизнь столяра: недаром на грубом лице, изборожденном морщинами, мелькали проблески неясных, неконченных дум, нерешенных вопросов, следы затаенной борьбы и раздраженья. И думалось: не была ли вся его жизнь рядом темных вопросов без ответов?.. Редкие клочья седых волос падали на лоб, впалые щеки от жалкого освещения казались бледнее полотна, с тонких, крепко сжатых губ готово было сорваться злое, бранное слово, слово досады или вздох... Войдя в грязную, душную мастерскую Никиты, читатель тотчас же почувствовал бы, что он находится в присутствии одного из тех угрюмых людей, живущих впроголодь и впроголодь, для которых жизнь на белом свете представляется не веселее вечной каторги... И действительно, радостей не было в жизни Никиты, не было ничего из того, что красит жизнь и заставляет ее любить: он отбывал жизнь, просто как тяжелую работу.

Всего на все только один светлый денек помнит Никита — один денек из прожитых им пятидесяти лет, да и то помнит неясно и смутно, потому что тот день далеко, так далеко, что его словно переживал не Никита, а кто-то другой, так далеко, что столяру иногда кажется, будто бы он во сне видел такой приятный день...

Раз о пасхе отец водил его — тогда еще малого ребенка — на колокольню; отец звонил, Никита тоже дергал какую-то веревочку. Колокольный звон разносился в весеннем воздухе весело и радостно, весело и радостно билось Никитино сердце... Звон глушил Никитку, но Никитке было очень хорошо. Вдали, на горизонте, тянулись леса; ясное, прозрачное небо кротко синело над городом, над полями и лесами; яркое апрельское солнце лило на землю потоки света и тепла, — и Никитка, стоя на колокольне, живо ощущал всю прелесть весеннего тепла и солнечного блеска. Он любовался на нежную зелень молодых березок, осенявших старую, полуразвалившуюся кирпичную ограду егорьевской церкви; полную грудью вдыхал он в себя здоровый, свежий воздух... А колокола гудели и гудели; грачи, летая вокруг колокольни, около покинутых гнезд, громко кричали и все-таки не могли перекричать колокольного звона; голуби тихо, смирнехонько ворковали, приютившись на уступе истрескавшейся церковной стены, поросшей зеленоватым мохом. Никитке было так весело, что он готов был похристосоваться с каждым сизоголовым грачом, с каждым голубем, с каждою живою тварью... В ту пору был он очень добр и ласков...

Хотя теперь, когда столяру перевалило за полвека, он и не может с уверенностью сказать: действительно ли это был только один день, или несколько дней слилось для него в один, но все-таки веселый колокольный звон на светлой неделе постоянно и до сих пор наводит на Никиту тихую грусть, пробуждая в нем воспоминание о какой-то сказочной действительности, подобной сну. Только один такой праздничный день выпал на долю Никиты, а затем тянулся ряд неприятных воспоминаний без конца и без начала. Трудно дышалось Никитке в родной семье, не весело жилось ему на свете...

Из бесчисленных забытых и полузабытых воспоминаний выдавалось особенно ярко одно темное воспоминание — об украденном в соседнем саду яблоке... Никитка только что было успел сорвать одно яблоко-зеленец, не успел даже и откусить его, как вдруг откуда ни возьмись огромная черная собака. Она бросилась на Никитку, сшибла его с ног и принялась его душить и мять в своих лапищах... В ту минуту из-за деревьев показался барин. Увидав, что его верный пес разорвал

мальчугану рубашонку и оцарапал плечо, барин, убоявшись дурных последствий, оттащил собаку от Никитки... Никитка очнулся уже за забором в кустах репейника, между крапивой; — и в самом жалком виде. Как он очутился в крапиве, — Никитка не помнит... Зато не позабыть ему эту черную злую собаку, едва было не задушившую его за зеленое яблоко. Боялся и не любил он после того таких больших собак. Приключение в барском саду крепко въелось ему в память...

Дома его еще отец выпорол, внушительно приговаривая: «Балуй, да не попадайся! Не попадайся!» Никитка громким голосом уверял отца, что он «больше не будет», и действительно после того «не попадался».

Никита еще мальчишкой сдержал свое слово, данное отцу под розгами: стал осторожнее... Барские яблони опустошались; ломался хрупкий малинник и колючий крыжовник, рвались и топтались в барских цветниках великолепные георгины, белые и алые махровые розы, но Никитка оставался цел и невредим.

Так же ясно Никитка помнил всегда грозно поднятый над собой тяжелый отцовский кулак, помнил постоянную ругань вокруг себя и драку. Дома он грызся с отцом и братьями, на улице — с чужими; сначала он только отгрызался, а потом уже, войдя во вкус кусанья, сам стал нападать на ближних.

Ссоры с отцом происходили у Никитки более из-за пятой заповеди. Отец согласно заповеди требовал от сына безусловной покорности своей воле, а сын, по легкомыслию, не ставил ни в грош отеческих требований, которые просто казались ему «ехидством». Пошлет его, бывало, отец в кабак за водкой, а Никитка, позабыв все заповеди на свете, задует себе с парнишками в бабки и лихо разбивает ряды костыжек битком, налитым оловом: не до отца ему, не до водки. Загуляет он до позднего вечера и воротится домой для получения колотушек уже тогда, когда есть захочется невтерпех. На побои же отец был очень щедр, полагая, что чем более ребят бьешь, тем они будут лучше, из чего ребята, естественным образом, вывели заключение такого рода: сделаться лучшим человеком по отцовскому рецепту очень тяжело и трудно.

Ссоры с братьями завязывались у Никитки чаще всего из-за еды, из-за куска пирога, из-за куска хлеба

с луком, из-за лишней ложки прогорклых щей или кислого молока...

Вырос, наконец, Никитка, пережил всех братьев, которым посчастливилось умереть в скарлатине, отца он похоронил (матери он не помнил) — и зажил одиночкой, самостоятельно. Самостоятельность его на первых порах проявилась в женитьбе на дочери мелочного торговца, на девке бойкой и красивой. Но жена, кроме детей, никакого благополучия не принесла с собой в дом столяра. Несправедливости, заказчиков, систематические подкапывания своего брата бедняка и тому подобные, по словам Никиты, «мерзостные штуки» заставляли столяра обращать внимание на кабак, от чего дела, разумеется, не могли идти лучше. Нужда и горе, казалось, взялись быть неразлучными спутниками Никиты в жизни.

То он прятался от добрых людей, замуравливаясь в своем подземном жилище по целым неделям и месяцам... Слова, бывало, не проронит ни с кем, только хмурится. В такие тяжелые дни семья Никитина притихала: в каморке раздавался только стук молотка да визг пилы, по полу стружки разлетались, и молчание столяр прерывал только для того, чтобы кого-нибудь обругать. Тут уж и Андрюшка, сынишка-любимец, не забавлял Никиту; не находил отец утешения в ребяческих ласках, — да и ни в чем его не было для Никиты.

То напускал на себя столяр веселье, выпивая водки штоф за штофом, но пьянство, как всякое напускное веселье, оказывалось недействительным: веселье не веселило. В пьяном веселье, как и в горе, звучала для Никиты все одна и та же безысходно грустная нота, звучала беспрерывно, до боли надрывая сердце, туманя мысль. Никита трезвый хмурился и вздыхал; Никита под хмельком тоже хмурился, но вздыхал уже не исподтишка, но громко, всю грудью, — и чувствовал в те минуты непреодолимую потребность что-нибудь побить: детей своих, посуду, старую треногую скамейку или жену... Ничто не могло оттолкнуть Никиту от кабака, когда он хотел напиться: ни мысль о голодающей семье, ни спешность заказанной работы. Никакие самые мудрые, самые строгие законы не помешали бы Никите напиться в те минуты до бесчувствия, до забытья той горечи, что капля по капле осаждается по вся дни в жизни бедных: в те минуты он продал бы и свою семью, и са-

мого себя, и все — никакая сила не вырвала бы у него из рук рокового стакана...

Двадцать лет живет столяр со своей Катериной Степановной и все еще не может решить вопроса: для коего лучшего женился он?

— Дури-то в те поры, видно, много было! — рассуждал он не раз с самим собой. — Целоваться хотелось... Да и телом-то она, аспид, больно уж вышла...

Жена его, с своей стороны, также не могла удовлетворительно решить головоломного вопроса: зачем она замуж пошла... Также, должно полагать, по глупости больше, целоваться хотелось! И пошла она по той же дорожке, по которой шли все, пошла и спокаялась, как и все каялись в свою очередь; погоревала она задним числом, поругала себя всласть за то, что замуж сдуру пошла, связала себя веревкой крепкой по рукам и по ногам.

— То ли бы дело без Никиты! То ли дело без ребят-то! Сама себя прокормила бы, кланяться бы не надо — вольная птаха! Куда захотела — полетела, везде бы пристала, прокормилась бы... А теперь уж не вырвешься... Экий ад, прости господи!..

Так в часы досады и боли жаловалась Катерина Степановна на свою злую долю, проклинала свою неправую ошибку...

Теперь уж ей за сорок. Ее блестящие глаза потускли от дыма и чада, от слез и бессонных ночей; ее цветущее, веселое лицо сморщилось и пожелтело; не прежняя приветливая, а злая улыбка пробегает по ее сухим губам.

— Ноженьки и рученьки так разломило, что просто моченьки нет! — жаловалась она кумушкам-соседкам. — Вчера всю ноченьку промаялась, соснуть не могла... Под сердце подступает, и спину-то всю раскололо...

По совету кумушек-соседок ходила она к одной лекарке-ворожее, но чародейство не помогло; одна благочестивая старушка какой-то ленточкой от чудотворцев перевязывала ей болевшую руку, но и чудесная ленточка не помогла... Катерина Степановна на все чудесные и не чудесные «средствия» махнула рукой.

Болезни, постоянная скудость во всем, несправедливости, нападки мужа и чужих людей, возня с семьей сделали-таки свое дело — Катерину Степановну, женщину, некогда полную сил и здоровья, женщину

добродушную и спокойную, превратили в беспокойную, раздражительную старуху, не могшую без брани шага ступить. Как мать она была жестока; как жена — сварлива и зла... Не выбиралось из трехсот шестидесяти пяти дней ни одного такого благодатного дня, чтобы она не поругалась с мужем и не треснула бы чем-нибудь по голове хотя бы одного из своих ребят. С сухим, сморщенным лицом, с взъерошенными волосами, выбившимися из-под грязного, дырявого платка, вечно с жестким, ругательным словом на устах. — она могла бы показаться фурией тому из моих читателей, который не испытал на своей собственной шкуре, что значит постоянно, изо дня в день недоедать, недопивать, дрожать от холода, переносить побои и брань. Не показалась бы она фурией тому, кто бы подсмотрел, как она раз о рождении обогревала перед печкой малютку нищего, который совсем было закован на трескучем морозе, славя под окнами Христа! Как она ласково гладила сиротку по головке, потчевала пирожком!.. Не показалась бы она также фурией и тому, кто бы увидел, как она защищала свою маленькую Настю от пьяного, разъяренного отца и принимала на себя побои, предназначавшиеся дочери! Нельзя было бы назвать ее фурией, видя, как она — сама усталая, измученная — просиживала ночи напролет у постели своего больного мужа!..

Не фурией была Катерина Степановна, но женщиною, захлебнувшеюся в горьких слезах, в слезах детей, в своих собственных слезах... Ее муж ругал, допекал, давалцы — она щипала ребят, таскала их за волосенки, ребятки в свою очередь вымещали свою злобу друг на друге, на кошках и собаках, — сильный терзал слабого, слабый ревел благим матом и жаловался тятке или мамке; являлись на сцену прутья, вой усиливался, после чего наступало минутное затишье: все бродили, надув губы, кошка пряталась под печку, пила визжала, за перегородкой ворчала Катерина Степановна, а там опять шло по-прежнему — и так с утра до ночи; ночью в жилище столяра стонали, охали, невнятно бранились и плакали спросонок... Справедливо называла адом свою жизнь Катерина Степановна...

Но между многими пороками и более или менее гнусными недостатками в Никитиной жене было одно золотое качество: Никитина жена работала рук не покла-

дая, ругалась и проклинала, не унывая, не падая духом. Глядя на нее, можно было удивляться, до чего вынослив, живуч человек, если даже и в дьявольски тяжелой жизни, подобной жизни Катерины Степановны, он не вовсе еще обращается в лютого зверя, но сохраняет в себе некоторые из тех качеств, которые делают паразитическим сходство между ним, полужверем, и тобой, мой цивилизованный читатель. Катерина Степановна не принадлежала к категории обессилевших: она деятельно заправляла своим маленьким хозяйством, занималась прачечным ремеслом, ходила полы мыть; летом, когда бары-давальцы разъезжались по своим усадьбам, она нанималась на огороды.

Не сидела без дела и дочь ее, семнадцатилетняя Настя. Она вместе с матерью возилась с бельем и по целым часам мерзла зимой у проруби, полоща белье; в свободное же от стирки время она клеила гильзы и разносила их по домам; помогала матери обшивать семейство и даже нередко пилила с отцом и приготавлила брусья, выглаживая их стругом¹. Зато и жизнь уже успела положить свою жесткую лапу на ее молосное личико. Когда она, сидя под окном и склеивая гильзы или вертя мундштуки, подымала от работы свою белокую хорошую головку, в глазах ее просвечивала тревога и какое-то неопределенное чувство беспокойства, а лицо выражало не то вопрос, не то недоумение, не то мольбу... Взглянувши на ее глаза, можно было подумать, что она или только что плакала, или хочет заплакать, — так уныло, тоскливо смотрели они... Но она молода, сердце ее еще не заскорузло, не съежилось, как ежится на огне сухой лист. Она внимательно всматривалась в щегольские дамские наряды, с тайным, непонятым для нее удовольствием заглядывалась она на красивые лица встречавшихся ей на улице мужчин, — и девушка не понимала: как это мать могла запретить ей глазеть по сторонам.

— Иди, да не зевай у меня! Я тебе косу-то встреплю... Вишь ты, и ленточку повязала... — часто ворчала Катерина Степановна, отпуская дочь из дома для разноски гильз или по какой-нибудь иной надобности.

¹ Струг — строгательный инструмент.

Не понимала Настя: за что ее мать встрепать хочет; отчего матери так не нравится ее голубая ленточка.

Для Катерины Степановны будущее уже представлялось просто грязной дорогой к кладбищу. Настя же еще надеялась, что туман рассеется и начнется для нее лучшая жизнь. Недаром в ее умных голубых глазах загорается огонь жизни, огонь любви и вспыхивают румянцем ее бледные щеки, когда завидит она в окно знакомого писаря. Настя многого еще ждет, на многое надеется... Как, например, приятно билось и замирало ее сердце, когда однажды светлым праздничным вечером за воротами писарь попотчевал ее калеными орехами и шепнул ей какой-то подержанный комплимент! Как она, в другой раз, весело-лукаво смеялась, когда тот же писарь, идя по дырявым мосткам мимо их окон, загляделся на нее и едва не упал. Ах, если бы не было матери дома! Она непременно выскочила бы за ворота поболтать с *ним*... Время было еще не позднее; все гуляют, забавляются... Над городом еще горит заря, и на улице как днем светло... Но мать уже ворчит, что Настя все баклуши бьет, что надо мундштуки вставлять да нужно выкрахмалить несколько сорочек к завтрашнему дню...

«Работай да работай! Все только работай... Никакого тебе веселья нет... Люди праздничают, а ты крахмал заваривай!..» — жаловалась сама себе Настя и принималась заваривать крахмал, отгоняя от себя заманчивый образ, все мечты и желанья, которые одни только и могли бы скрасить жизнь для Насти.

Кроме Насти, под родительским кровом жил еще, как сказано, Андрюша, мальчишечка лет четырех, самый младший член Никитиной семьи. Светлокудрый Андрюша представлял собою существо до того незлобное, до того кроткое, доброе и милое, существо, до того ярко и резко выступавшее из всего окружающего, злого и грубого, что кумушки пророчествовали хором: «Этот парнюга не жилец на белом свете».

— Такие ребятишки, матушка ты моя, николи не живут подолгу! — говорила старуха нищая, жившая рядом с столяром. — Царствие их не здешнее: уж очень сердцем-то они кротки!..

Андрюша действительно до того был незлобив и кроток сердцем, что не таскал даже за хвост Машку,

а Машку, должно заметить, таскало за хвост решительно все подраставшее Никитино поколение. До того Андрюша был ласков, что даже черствое сердце столяра, не доступное никаким вообще нежным чувствованиям, смягчалось, — и Никита шелкал Андрюшу менее прочих детей, игрывал даже с ним под веселый час; для Андрюши у Никиты находились и доброе слово приветя, и ласка, и страшная сказка, и смешная прибаутка. Отец добродушно звал своего любимца «кумóркой». В этом странно звучащем слове сказывались отцовская любовь и нежность...

— Андрюха! Ты меня любишь? — спрашивал, подвыпивши, столяр у сына, ползавшего у него в ногах.

— Юбью! — отвечивал сын. — А дай Дюхе сюжет... ишо бойьше юбить стану.

Столяр ухмыляется, берет горсть стружек с своего станка и бросает их Андрюхе.

— Ну, кумóрка! Покажи-ка теперь: как ты любишь тятку!.. — возглашал отец.

— Во как... во... — пишит сынишка и, обнявши ногу отца, жмет ее изо всех сил, кряхтит и кашляет...

— Ну, ладно! Умная ты у меня голова... — говорит Никита, и задумчивая улыбка пробегает по его губам, когда он смотрит на раскрасневшееся личико Андрюши.

— И ты голова... — шепчет Андрюша, забавляясь стружками.

Так благодушествуют отец с сыном, но не часто они благодушествуют...

Кроме «не жильца на белом свете», господь наделил Никиту еще двумя сыновьями, которые в начале моего рассказа жили уже «на местах» — и со стороны кумушек, в противоположность Андрюшке, пользовались репутацией существ вполне земных.

Старший, Алешка, малый лет шестнадцати, был отдан сапожнику-куму в ученье. Кум-сапожник не раз, между прочим, принимался объяснять Алешке и сотоварищам его ту истину, что если они будут хороши, то и им будет хорошо. Положение, в сущности, немного сбивчивое, но сапожнику представлявшееся, очевидно, весьма ясным и удобопонятным. Сбивчивые правила отвлеченной философии нередко получали вещественную поддержку в образе кулака и розги... Из того, что сапожник ежедневно молился богу, крепко стучаясь об пол лбом,

мальчишки увидали, что каждое утро и каждый вечер следует молиться богу, то есть стучаться перед образами об пол лбом; из того, что сапожник часто напивался допьяна, напившись, пел и шумел, — мальчишки вывели то заключение, что напиваться, должно быть, очень приятно, а нравоучения, по причине их сухости, пропускали мимо ушей... На Алешке, как и на его товарищах, подтвердилась еще раз избитая истина, гласящая, будто бы пример заразительнее всяких самых красноречивых нравоучений даже и в таком случае, когда последние поддерживаются авторитетом палки или кулака. Алешка возлюбил водку; из-за нее он безбоязненно прокучивал хозяйский товар, инструменты, сапожные обноски и безбоязненно же шел за то под побои и затрещины. Порядочный молодец выходил из Алешки в школе кума-философа; недаром кумушки окрестили его прозвищем «отпетого» — прозвищем, от которого так уж и веяло острогом, кандалами, каторгой.

Младший брат, Степка, мальчуган лет девяти, служил на побегушках в мелочной лавочке дяди Сидора. Сидор Панкратьев, родной брат Катерины Степановны, слыл за человека глубоко нравственного, воздержного и пользовался уважением людей благомыслящих; на самом же деле дядя Сидор был только скуп, и только скупости своей он был обязан своею внешнею добропорядочностию и воздержностью. Он не прочь бы был и покутить и поразвратничать — на чужой счет, да втихомолку. Это просто был наглухо, ловко замаскированный плут и мошенник, человек практический — в самом гнусном значении этого слова... Дядя Сидор, как хозяин строгий, парнишкам воли не давал и так больно бил их аршином, что мальчишки его выглядели образцами кротости и смирения и обещали сделаться впоследствии прототипами своего славного хозяина, то есть такими же, как он, ползающими тварями, бессердечными ханжами и лицемерами.

Степка, как существо бессильное, немощное, весь — и телом и душой — отдался во власть железного аршина. Прикажи хозяин чернила слизать с листов приходя-расходной книги, — Степка слижет не поморщившись, даже и отплюнуться не посмеет. Закажи ему хозяин обмерить или обвесить какую-нибудь несмыслящую старушонку, покупающую соли на грош да крупы копейки на три,

или надуть ребенка, — Степка, не моргнув, побожится хоть десять раз, обмеряет, обвесит и надует так аккурратно, что и весьма зоркому глазу будет нелегко заметить его плутовской маневр. Снявши шапочку, с низкими поклонами проводит он обманутого покупателя, размахнет перед ним дверь настежь и умильным голоском закричит ему вслед: «Напредки-с милости просим...»

Степкина спина зато остается цела, а что Степке за дело до чужого кармана. Хоть все по миру пойди! Степке зато дают чаю, то есть сам Сидор Степанович подает ему чашку с мутной водицей, кусочек сахара, едва видимый невооруженным глазом, и говорит: «Пей!» Степка посматривает на сахар, прихлебывает грязную водицу, налитую из чайника, и наслаждается... Вприглядку же и без сухих крендельков он пьет чай потому, что сахар и крендельки он приберегает, а по праздникам делится ими с братом Алешкой, перед ухарством и силою которого преклоняется Степка-мозгляк. Хотя Алешка и подтрунивал иногда над братом, называя его «мямлей» и «бабой», но Степка не обижался и был себе на уме. Смехом отделялся он от нападений Алешки и оставался в полной уверенности, что Алешка проще его, что он изворотливее Алешки...

Одинаковость положений сближала братьев: они оба были недовольны своею участью, оба были окружены врагами.

Алешка никого не боялся, Степка же боялся всех, кто был посильнее его. Оба же брата представляли из себя еще в зародыше двух типических представителей тех сил, враждебных обществу, без которых современное общество немыслимо.

II

Стонь и скрежет зубовный

Купол и крест егорьевской церкви и высокий колокольный шпиль сияли в первых лучах восходящего солнца.

Красноватый утренний свет проникал через два маленькие оконца и в убогое жилище столяра. В тесном заднем отделении на низеньком старом столе Настя, засучив рукава, катала тесто; Андрюшка, сидя у окна,

что-то жалобно мурлыкал себе под нос. Никита расположился на лавке в переднем отделении и старательно расчесывал роковым гребнем свои сполстившиеся волосы.

Наступал праздничный день...

Возвратилась с реки Катерина Степановна и, узнав, что парнишки еще не приходили, занялась просушкой белья. Алешка со Степкой по праздникам обыкновенно приходили домой.

— Блажной, прости господи, человек! — роптала вслух Степановна, ставя в печку утюг. — Рубашкам числа нет, — и чистые есть, верно знаю, что есть... А нет, вот подавай непременно эту! Уродится же такой человек: как заладит что, так и шабаш!..

— К обедне-то не пойдешь, что ли? — спросил Никита, кончив свой туалет.

— Какъя тут обедня! — взъелась на него жена и раздражительно принялась разбивать в печке головню.

Головня ворочалась по поду, искры сыпались...

Никита сердито ворчал. Он для праздника намазал ворванью свои высокие сапоги, заправил в них свои полосатые штаны, надел иззелена-черный, длиннополый кафтан и даже повязал галстук, повязывавшийся не каждый праздник; последнее обстоятельство обозначало, что для Никиты на этот раз с праздником соединилось еще нечто...

Когда на егорьевской колокольне заблаговестили к ранней обедне, Никита взялся за шапку. В сенцах повстречался он с суетившеюся Катериной Степановной и сказал:

— С Настасьей-то поговори ужо... А я от обедни-то к Кривушиным пройду!

Пока Настя подметала березовым веником щелеватый пол, Степановна занялась глаженьем. Хмурилась она сильно и с сердцем поплевывала на горячий утюг: в ее душе подымалась непогода и должна была испортить для нее и для ее семьи праздничное утро. Разобидел ее упрямый давалец, немало также озабочивали ее и предстоявшие переговоры с Настасьей, о которых уже, уходя, намекнул ей муж и о сюжете которых он с ней держал совещание ни свет ни заря, когда детки еще крепко спали и на дворе было сумеречно. Андрюшка между тем, забившийся с палкой под стол, на котором одним краем лежала гладильная доска, вообразил себя кучером,

палку — лошадей, а стол — каретником... Он заползал, завозился и, принявшись закладывать свою воображаемую лошадь, толкнул стол так сильно, что утюг, стоявший на обломке кирпича, дрогнул и шевельнулся... Катерина Степановна загорелась от гнева и досады: болезненный румянец выступил пятнами на ее исхудалых щеках, глаза блеснули из-под нахмуренных бровей.

— Что ты леший-то никуда не унесет! — злобно вскричала мать. — Ишь забился... Убирайся ты, дьяволенок! Так вот голову-то и прошибу...

Мать пнула под столом Андрюшку, — тот запищал; мать выхватила его оттуда за рукав и, притащив в сени, с остервенением толкнула на крыльцо. Андрюшка головой угодил прямо о порог. Пошатываясь, перелез он через порог и, усевшись на нижнюю ступеньку крыльца, уткнул в руки свою ушибленную голову и тяжело и горько заплакал.

— Чего воешь, Андрюшка? — осведомилась проходившая мимо старушка нищенка. — Мать выстегала, что ли?..

— Гововку бойбно... он бойбно, бойбно!.. — всхлипывал ребенок, глотая слезы и прижимаясь правым виском к колену.

На виске вскочил синяк.

Подошла Арапка, виляя хвостом и ласкаясь, ткнула мордой Андрюху в бок. Андрюха посмотрел в слезливые глаза старой собаки и подумал: «Арапка плачет, Арапку водовоз, видно, тоже по головке бил...» Андрюша помнит, как раз сердитый водовоз бил собаку...

Арапка села и, положив свою морду на колени к ребенку, принялась умильно взглядывать на него. Взял мальчуган собаку за ухо, потащил к себе и, запустив свою маленькую ручонку в ее густую взъерошенную шерсть, стал гладить, теревить — ласкать по-своему Арапку. Голодная Арапка ждала подачки, но, не дождавшись ничего, подняла вдруг морду и с ожесточением принялась лаять на ворону, усевшуюся на заборе. Ворона, очевидно, порывалась было опуститься на землю и пробраться к помойной яме, чтобы вытащить оттуда яичную скорлупку, заманчиво выглядывавшую из грязи и сора. Испуганная хриплым лаем дворового пса, ворона закаркала и улетела в соседний сад, а собака, успокоенная ее отлетом, улеглась у Андрюши в ногах.

Никита в это время стоял уже в церкви и вместе с другими клал земные поклоны, вздыхая про себя потихоньку и набожно творя крестное знамение. Никита смотрел на образа, но не к богу неслись его помыслы. Они то возвращались к только что оставленной им семье, то уносились в барскую переднюю, в дом Кривушина. «Федор Гришин, — рассуждал столяр, — детина ражий, мастеровой человек — нашего поля ягода! Гульнуть хошь любит, да ведь это что! Кто из нашего брата этого не любит. Вестимо, как выпьешь, так и оживешь!.. А Насте он — пара...»

Вчера вечером, зашабавив, приходил к нему Федор и сделал предложение: больно, вишь, полюбила е му Настасья Никитишна. Давно уж он думал переговорить с Никитой Долгим об этой материи, да все не мог собраться; вчера под хмельком он наконец решился привести в исполнение свое давнишнее намерение, подвинуться хоть на шаг к осуществлению своей мечты... Хотя Настя-то к нему не очень льнула, да ни жених, ни отец не ждал отказа. «Чего еще ей надо! — успокоивал себя жених. — Будем не хуже других...»

Денежные расчеты стали занимать Никиту, и вместо молитвы он начал высчитывать рубли и копейки, которые ему уже давно оставался должен за мебель Кривушин. «Тридцать рублей... — припомнил Никита. — Так точно! Десять рублей он уплатил... тридцать рублей, значит, и осталось! Да за подзеркальники к туалету рубль с полтиной!.. Да!» Деньги Никите были очень нужны: отчасти для того, чтобы справить свадьбу дочери, отчасти для покупки материала. Чем сильнее копошились мысли в голове Никиты, тем сильнее он встряхивал головой, тем порывистее крестился и клал земные поклоны... Не хотелось Никите идти к господину Кривушину. А идти было необходимо — нужда толкала.

Стоял Никита в барской передней и мям в руках свою засаленную шапку.

— Да ведь чего же, сударь, еще ждать-то! И так ждали... больше года прошло... — говорил столяр, рассеянно поглядывая по сторонам. — А наше дело мастеровое... деньги нужны... И материалов купить, и на хлеб тоже нужно... Одним ведь воздухом не проживешь... Сами изволите знать...

— Хорошо ты, голубчик, стулья-то сделал! — заметил барин с недовольной, насмешливой миной.

Барин — мужчина довольно тучный, с лоснившимся лицом — пыхтел, как паровик, и бренчал часовой цепочкой. Своими маленькими маслянистыми глазками он поглядывал нетерпеливо-небрежно то на столяра, то на кончики своих лакированных сапог.

— Стулья-то твои почти уж все переломались... — начал было барин и не кончил...

— Сами вы принимать изволили! — перебил Никита с жаром.

— Да ты много-то не рассуждай у меня! — вскричал Кривушин, потрясая брелоками. — Убирайся! Пошел вон... — Барин повернулся и вышел из комнаты. Никита остался вдвоем с лакеем.

Столяра тоже сильно начала разбирать досада. Губы у него как-то судорожно передергивало. Воспоминание о страшном черном псе опять вдруг ожило и ярко восстало перед Никитой.

— Эх ты! Рассердил только барина-то у нас... — с неудовольствием говорил лакей, поглядывая на рабочего. — И кой тебя черт дернул... А-ах, право...

— Да какой ты чудной, парень! — огрызнулся и на него Никита. — Деньги-то ведь нужны... Как же быть-то! Не пропадать же из-за того!..

— Ну, в другой раз пришел бы! Не беда! Ведь не за тридевять земель живем... — заметил лакей.

— Нам разгуливать-то некогда! — резко заметил Никита.

Лакей не удостоил его возражением и принялся напевать себе что-то сквозь зубы. Лакей был малый с испитым, опухшим лицом, в грязных воротничках и сюртуке. Он сидел на ларе, побалтывал ногами и глазел в окно. «Холуй, так холуй и есть!» — подумал рабочий, хмуро, с недовольством поглядывая на лакея.

Дело кончилось тем, что Никиту наконец вытолкали из передней... Медленно спустился он с парадной лестницы и, выйдя на улицу, остановился, чтобы перевести дух. Страшен был в те минуты Никита: лицо его дышало злобой, ноздри раздувались, глаза горели кровожадным блеском. Никита казался еще страшнее оттого, что старался сдерживаться, не давал воли зажегшейся страсти. Он думал надеть на себя личину спокойствия в то время,

как ад клокотал в его груди. От сознания бессилия перед врагом на мгновение навернулись слезы на его глазах, он смахнул их, сглотнул и заскрипел зубами...

Прямо через дорогу стоял покривившийся старенький домишко с огромною вывеской, разукрашенною изображением штофов, бутылок и стаканчиков, налитых до половины. Крупными красными буквами на той вывеске значилось: «Распивочно и на вынос». Никита ощупал несколько медных монет в своем кармане и перешел через дорогу...

Катерина Степановна в это время с воркотней приготавливала белье «блажному давальцу», сухо встретила Степку и Алешку, обозвала их «санапалами» и все-таки накормила гороховиком, причем Алешке, как любимцу матери, достался кусок побольше. Напрасно прождав мужа к обеду, Степановна решила, что его опять, видно, в кабак занесло, и села с детьми за скудную трапезу. Катерина Степановна тупым ножом искромсала мясо и куски свалила в чашку шей.

— Щи-то сегодня что-то не больно наварны! — заметил Алешка, облизываясь и мешая в деревянной чашке похлебку. — И капуста-то серая какая... У нас так всегда...

— Ну-ну, ты! — прикрикнула на него Катерина Степановна. — Ешь, коли дают! Серая капуста! Вишь ты... тоже! Рыло-то у ты серое... Вам, дьяволам, и того-то не надо давать... Чего вихор-то опустил? — взъелась мать на Степку, когда тот низко наклонился над чашкой.

— Таракан! — лаконично объяснил Степка, вытаскивая за усы из щей прусака и бросая его на пол.

— Ну, ладно! Не подавишься! — заметила мать, отплевываясь.

После шей явилась еще крынка пресного молока, кусок гороховика, и тем закончился обед.

Степка, ради забавы, привязал кошку к скамейке за хвост, за что мать стукнула Степку в горб, а кошку выбросила за шиворот в окно... Потом братья принялись с Андрюхой играть в прятки и наконец развозились до того, что Катерина Степановна совсем осерчала и прогнала их из дома вон... «Честные братаны» отправились

бродить по городу с твердым намерением при случае побаловаться, а Катерина Степановна пошла разносить белье своим давальцам. Настя осталась одна с Андрюхой; братишка спал, а сестра думала горькую думу.

Мать объявила ей о желании Федора Гришина взять ее себе в жены. Гришин ей нисколько не нравился, — не лежало к нему Настино сердце...

— И думать не моги! — сказала ей мать. — Выходи, Настька, да и шабаш! И нам полегче будет, да и тебе-то... Чего еще ждать, прости господи...

А Настя между тем вопреки материнскому запрещению не могла перестать думать, не могла сразу, безропотно покориться необходимости бросить на ветер свои девические мечты и желанья, — выйти замуж за немилого... Грустно понурившись, сидела она под окном... Легко было матери сказать: «Не моги думать!»

По мостовой, гремя и дребезжа, катились экипажи, шли гуляющие — разряженные дамы и кавалеры. Веселый говор, беззаботный смех праздной толпы, доносясь до Насти, еще пуше, еще болезненнее бередили ее раны. «Есть же вот люди, веселятся. Им хочется гулять, и гуляют!.. — раздумывала девушка. — Есть же люди, которым жить гораздо лучше, чем мне!.. Да что ж я-то за несчастная такая уродилась?..» Мягкий вечерний свет лился в комнату, праздничные звуки долетали до Насти; напротив в доме барышня играла на фортепиано и пела о любви, о каком-то счастье. Прозрачно-голубое, ласкающее небо, спокойное, тихое — раскидывалось над крышами домов, прохладой веяло из соседнего сада, пахло цветами за окном; ни свет, ни блистающее небо, ни праздничные звуки веселящейся толпы, ни сладкая песня о любви — не разгоняли будничного состояния ее духа, убитого горем. Да и где же им, этим светлым, праздничным звукам, этим песням о счастье ободрить и утешить ее, бедную, когда вся ее жизнь, все будущее в этот прекрасный, сияющий вечер становится на неверную карту. Заикнулась было Настя матери о писаре, — мать накинулась на нее.

— Что-о? Писарь? — заговорила она. — Он себе невесту-то почище сыщет, из приказных али из духовных возьмет али какую ни на есть купчиху подденет... Пустые слова только говорит твой писарь; побаловаться

ему охота, вот что! А Федор Митрич — свой человек... Семь рублей с полтиной в месяц получает, не озорник.

Настя сидит у окна и горюет втихомолку, одна-одинехонька. Напрасно она вглядывается в передний угол, на образ, где в тени, едва видимо, бледнеет лик спасителя... Не снимается тяжести с ее изболевшего сердца. «Хозяйка будешь! Муж если и поругает, так уж зато он — муж; другим в обиду, значит, не даст...» — думает Настя, и ей чудится, что она уже начинает думать не своей головой, а головою матери... Но вдруг — как на зло — мимо окошка проходит писарь, снимает шапку, кланяется и покручивает свои черные усики...

— Все ли в добром здоровье, Настасья Никитишна? Каково поживаете, нас не позабываете ли? — спрашивает он, приостанавливаясь у тротуарной тумбы и подбочениваясь.

Густой румянец разлился по бледным щекам девушки, глазки загорелись, но ни пылавших щек, ни глаз, искрившихся любовью, писарь не мог подглядеть в вечернем сумраке, а то бы страшно всполошились его животные инстинкты... Смутные, неясные желанья волновали Настю, и нестерпимо ей показалось приносить себя в жертву рублям и копейкам Федора Митрича, и захотелось ей хоть раз в жизни, хоть одну, одну минуту любить и забыться в любви, отпраздновать свою молодость... Грудь ее высоко подымалась, слово мольбы и призыва готово было сорваться с ее полураскрытых губ... В это время пьяный отец постучался в дверь, обругав «косопалым чертом» Арапку... Писарь скрылся... Вот скоро мать придет, затеется ссора, — и уж тут хоть святых вон неси!..

Скоро действительно возвратилась и Катерина Степановна от кумушки, к которой заходила на перекуток чайку напиться да покалякать о городских новостях, о похоронах, свадьбах, о семейной и общественной жизни обитателей Болотинска. Пришла она сильно раздосадованною на свои неудачи: помощник столоначальника казенной палаты за белье денег не отдал шести гривен, пьянчужка проклятый! А «блажной давалец» хоть и отдал, по обыкновению, деньги все сполна, до копеечки, но заметил на манишке какое-то крохотное пятнышко и всячески обругал за него Степановну.

— Седьмой год стираю на окаянного, хоть бы когда-нибудь на чай подарил на полтора золотника! — говорила она брюзгливо. — Вот, мол, тебе, Степановна, зараденье! Хоть бы на смех! Так нет!... Только ругани и дождешься.

Мать была сердита, а отец еще того сердитее. Степановна попрекнула мужа кабаком, а тот, не позабывши своего утреннего визита к Кривушину, проклял жену всевозможными проклятиями, причем так стукнул кулаком о стол, что хлебная чашка слетела с полки и попала ему в голову... Гнев родительский на этот раз отозвался всего печальнее на Насте... Поугомонившись немного, Никита повел с женой тихие речи.

— Ну что? — спрашивал хмельной отец, мотая головой по тому направлению, где за перегородкой, пригрюнившись, сидела Настя.

— Да что! Мало ли она чего городит, не слушать же стать! — с сердцем отозвалась Степановна.

Никита промычал что-то себе под нос и почесал за ухом.

— Настыка! — вдруг возгласил он мрачно. — Я тебя Федору буду пропивать! Слышь?

— Я мамке говорила, что не пойду за Федьку... — надорванным голосом ответила Настя из-за перегородки.

— Чего-о-о? Не пойдешь? — протянул отец, как бы удивляясь смелости дочери. — Да кой леший у тебя спрашиваться-то станет, пошлют, так пойдешь! Венца-то небойсь скинуть не дадут... Скрутим!.. — тут столяр употребил свое обычное ласкательное слово. — У меня и без тебя один дармоед есть... — продолжал Никита, тыча пальцем в сторону полатей, где спал Андрюша. — На даровой-то хлеб вы все охочи... черт бы вас побрал!..

— Не без дела сажу! — с горечью отозвалась дочь.

— Востра, матка! Вижу, что востра... — саркастически возразил столяр. — Гм! «Не без дела сажу!» Вишь ты!..

— Не пойду, не пойду! — вполголоса повторяла Настя, чувствуя, что говорит сущий вздор, что пойдет она замуж за Федьку...

Долго толковали родители, то ссорились, то мирились, но разговор мало-помалу стал принимать тон все более и более ласковый.

— Ты возьми в толк вот что! — внушительно говорил Никита. — Другой-то скоро ли еще подвернется, дайся еще... а Федор по крайности человек известный, не беспутный какой, никаких худых делов за ним не водится, — парнюга изрядный и из себя ничего... Палашка али Анютка, поди, выскочили бы за него с радостью...

Чем тише начинал говорить отец, чем мягче и ласковее становились материнские речи, тем яснее сознавала Настя, что ее твердое решение не выходить замуж за Гришина колеблется все сильнее. Под конец уж она ничего не возражала, но молча, словно к смерти приговоренная, сидела, сложив руки на коленях. Слезы текли по лицу, падали на скрещенные руки... Заплакала и Степановна... Скрепя сердце, не веря себе ни на волос, толковала мать дочери о том, что авось все перемелется, мука будет... Поживет — слюбится...

Никита тоже хмурился, пока не пришел Федор. Тут они ударили по рукам и, как водится, пошли в трактир «Саратов» пропивать Настю. В то время как Настя плакала и плакала, жених ее потчевал своего будущего тестя, тесть пил и ругал своего будущего зятюшку за то, что тот плут и мошенник...

Город спал мертвым сном, только кое-где лаяли собаки, месяца уже не было видно, когда Никита, сильно охмелев, вышел из трактира, где пропил Федьке свою дочь. В то время как он проходил мимо кривушинского дома, словно какое-то темное облако застлало от него все окружающее, всю действительность, только утренняя сцена в барской передней, образы барина и лакея живо и ясно рисовались в его воображении на черном фоне злобы, тоски, ожесточенья.

Тихо было вокруг. Даже было слышно, как лист в саду шелестил. Слышно было, как где-то далеко сторож в доску бил. Была полночь. Никита наклонился, поднял с мостовой булыжник и с силою запустил им в стену кривушинского дома.

Вдруг ему послышалось, будто кто-то крикнул: «Держи его!» Со всех ног бросился столяр бежать: ужас напал на него, хмель мигом вышибло из головы. Несясь по улице, он было чуть с ног не сшиб одного приличного господина, вообразив себе, что тот хочет задержать его. Бежал Никита сломя голову, пробежал площадь,

пробежал мимо старинного собора, пробежал в его тени на мост... Ему уж чудилось, что за ним по пятам бегут полицейские, догоняют его, хотят схватить и утащить в часть... Запыхавшись, вбежал Никита на низенькое крылечко своей квартиры, пошатываясь, кое-как добрал он до лавки; помутившимися от страха глазами посмотрел за перегородку, откуда свет светил, но тут уж силы, долго напряженные, оставили столяра, и он без памяти повалился на лавку. Через минуту он тяжело храпел...

За перегородкой долго за полночь горел ночник. Степановна, просыпаясь, несколько раз приказывала Настьке гасить огонь, но Настька, не слушая ее, сидела, прижавшись к столу и положив голову на руки... Не думала она огонь тушить: то безумные, грешные помыслы заползали ей в душу, как незваные, назойливые гости; то приступала к ней мысль о покорности...

«Убежать? — спрашивала сама себя Настя, ломая руки и крепко-крепко стискивая голову, словно надеясь выжать из нее ответ. — Куда? Где устроиться? Где будет лучше?..»

Только в сказках сказывается, слыхала Настя, что есть на свете стороны — такие чудные, где реки текут молоком и медом, а берега у тех рек кисельные... Там «как агнцы, кротки человеки», там прет жар-птица, там люди находят живую и мертвую водицу, там Иван-царевич спасает бедных девок... Настю же некому спасти!..

«В самом деле, не сделать ли уж так, как отец с матерью говорят?!»

Сожаление о рано схораниваемой девичьей волюшке выжимало у нее слезы на глаза; но большее сожаления о потерянной молодости терзало ей сердце сознание своей немощности, своего бессилия перед злою долею...

Ночник на рассвете догорел и погас... Думы Настины, поднявшие было такую сильную рябь на спокойной поверхности ее маленького мирка, стали обессилевать, утихать... Когда же первые лучи весеннего солнышка осветили жилье столяра, когда они ударились в закоптелую печную заслонку и в почернелый потолок, — тогда Насте уже стало казаться вполне естественным, если она отправится в церковь с противным Федором и обойдет с ним трижды вокруг налож.

Катерина Степановна жалела Настю и выдавала ее замуж не по одному только расчету: избавиться от лишнего рта. Мать знала, что, избавляясь от лишнего рта, она в то же время лишалась двух здоровых, крепких рук: ведь Настя действительно не сложа руки сидела. Она помогала матери в стирке, помогала в хозяйстве и еще сверх того специально занималась клеением гильз. Сначала Настя продавала гильзы по две с половиной копейки сотню в мелочную лавочку добродетельному дяде Сидору; потом разносила она их по домам по три копейки сотню, затем уже ей как-то посчастливилось гильзы поставлять в магазин по две копейки сотню из готового материала. Занимаясь только гильзами, Настя могла бы сделать в день сот до осьми; но с обрядом и ходьбой туда и сюда выходило обыкновенно не более пяти сот. Средним же числом Настя успевала сработать в месяц тысяч восемнадцать, следовательно получала около трех рублей с полтиной в месяц. Так Настя, значит, работала и приносила в общую сокровищницу свою лепту... Но от делания гильз у Насти ныла грудь, спина болела... Катерина Степановна, как женщина далеко не глупая, все это знала очень хорошо, жалела свою дочь сильнее и искреннее иной чадолюбивой «тапан» и потому не могла видеть для Насти особенного благополучия в том, если она засидится в девках и станет прибавляться подобною работой.

— От этих делов не будешь богата, а будешь только горбата! — говаривала не раз Катерина Степановна.

В замужестве для Насти мать особенного благополучия не чаяла, но выдавала ее просто потому, что лучшей участи для дочери никак не могла придумать. «Хоть достаточек будет да обеспечение какое ни на есть... Все-таки свой угол...» — думала она, снаряжая дочь к венцу, Никита же знал только одно, что долго ли, коротко ли, рано или поздно, а Настю все-таки придется в церковь гнать...

Настя же сильно тосковала, не внимая ни внушительным доводам, ни строгим уговорам отца, ни слезливым увещаниям матери. Настя уже не молила никого, не молилась никому, ни на что не жаловалась... Писарь

знал об ее горе и не шел спасать ее, даже навеститься об ней не пришел ни разу вечером к воротам, как бывало прежде...

Да любил ли ее, полно, писарь-усач? Не поиграть ли, в самом деле, только хотелось ему с бедной девкой? Не права ли мать была, обзывая его «шаромыжником» и «пустомелей»?.. И припомнилось с чего-то Насте, как однажды красивый писарь читал ей какой-то старый, рваный песенник без начала и конца, от серых, засушенных листков которого сильно припахивало казармами, махоркой и гнилью. Писарь читал:

Нет! не на радость, друг милый,
Новые дни к нам придут;
Верно, не здесь — за могилой
Радости наши цветут...

С большим чувством, по-своему, прочел тогда писарь эти четыре жалобные строчки. «Да, — думалось теперь невольно девушке, — видно, не здесь зацветут мои радости!..» Верно угадала Катерина Степановна характер писаря, называя его «шаромыжником»; не менее верно угадала она и характер его ухаживанья за Настей: писарь действительно олицетворял собою одну пошлость.

Дослужившись до нашивок и сгибаясь перед офицерством, он шибко задирал нос перед низшими. Он, вышедший из мужичьей среды, ругал деревенских людей «вислоухими мужланами» и при случае не прочь был потрепать за бороду какого-нибудь смиренного, забитого «дядю Пахома».

Писарь-высочка жениться действительно подумывал на купчихе вдове, а в Насте он просто видел цветочек, который можно было сорвать, а затем, повертевши в руках, забросить подальше, с глаз долой...

Так, или почти так, начинала думать и Настя, припоминая серые хитрые глазки усатого писаря, покрывавшиеся маслянистою влагой в те минуты, как писарь играл и ласкал Настю. А все-таки вопреки рассудку он был ей милее грубого, неприглядного Федьки... И не для вида, не во исполнение старого обычая плакала Настя, когда подружки водили ее в баню и расплетали ее длинную косоньку; искренни были слезы Насти, когда раздавались над нею заунывные песенки подружек. По ее осунувшемуся личику, да и по заплаканным глазам, можно было догадаться, что не с радостью собиралась девушка

под венец. Но она держала себя, как и всегда, так тихо, так спокойно, что можно было подумать, будто в ее душе спокойствие царствует, будто под безмятежной оболочкой все тишь, да гладь, да божья благодать.

Под одною же кровлей с Настей страдало другое живое существо, страдало так же искренно и от души, как и Настя. Хозяйская работница давно и страстно была влюблена в Федора Гришина, но не могла добиться взаимности и изнывала от своих напрасных желаний. Женитьба Федора окончательно подрезывала крылышки ее игривым мечтам и болезненно отдавалась в ее пылком сердце... Не так смирно, не так покорно, как Настя, склоняла свою голову Пелагея. Моя хозяйскую кадушку из-под капусты, Палаша с ненавистью прислушивалась в сенях к доносившемуся до нее пению снизу, из квартиры столяра. Злость и бессильная ревность ее разбирали до истерического смеха, до слез... Как она лихорадочно, принужденно-весело смеялась над старушонкой, когда на ту напустилась во дворе собака и рвала ей подол! Старушонка визжала, отмахивалась клюкой от сердитого пса и, запнувшись, повалилась на груды кирпичей... А Палаша, забросив на плечо грязную тряпицу и прислонив кадушку к стене, смеялась и смеялась, стоя у окна... С попадье-хозяйкой она поругалась за обедом из-за шей... Перетирая после обеда посуду, Палаша так ловко стукнула миской об стол, что миска разлетелась вдребезги. Попадья излила на работницу целый поток упреков и нравоучений, а в заключение пообещала вычесть из двухрублевого Палашиногo жалованья цену разбитой миски.

— Вычитайте хоть все! Берите! Мне что!.. Обижайте, обижайте! Наживайтесь сиротскими денежками... Мне что! Давайте расчет, да вот и все... Меня к Кукушкиным давно зовут... Уйду, да и кончено!.. — с жаром огрызалась Палаша. — «Вычту, вычту!» — передразнивала она попадью, увернувшуюся на ту пору за дверь. — Ишь ты! Вычитать-то больно охоча...

Раскраснелась Палаша, с остервенением вытирая кухонный стол, и ругала попадью и поповну-стрекозу; но злоба ее относилась не к столу и не к хозяевам, но к Федору и к невесте его — Настеньке, «подлой лицемерке». «Ничего и не скажет, молчит себе, ровно не ее и замуж выдают! — мысленно ругалась Палаша. — Отобыю,

боишься, что ли? Храни, храни свое золото...» — смеялась она, но очень дурной выходил у нее смех... Не смогла Палаша устоять от искушения — сошла-таки вечером вниз посмотреть на жениха с невестой...

— Сердечушко-то, Палаша, больно у меня тоскует! Так-то уж тоскует, что просто терпеньица не стало! — говорила шепотом своей подруге невеста, утирая глаза. — Палаша ты моя милая, что же делать-то мне?..

— Ну, ладно! Погоди, Настя! — отвечала ей подруга, едва сдерживая злую улыбку, так и просившуюся на уста. — Погоди, матка! Слюбится уже!..

— Какое уж «слюбится»! И не говори лучше... — уныло перебила невеста.

Жених между тем, в пестрой ситцевой рубаше, в сером казинетовом полукафтаны, с медным перстнем на указательном пальце правой руки, рисовался перед красными девушками, подпевал им и то и дело заигрывал с невестой. Он то щипал ее, то подставлял мимо проходившей Насте свою длинную ногу, так что Настя рисковала разбить себе нос, то задавал Насте такой вопрос, на который она не могла отвечать, то делал не темные намеки на то, на се, от чего девушки разбегались, а Настя, как невеста, должна была оставаться с ним. Так любезничал Федор.

Горка орехов да дешевых пряников лежала на деревянном блюде; две рюмки с выбитыми краями и штоф водки стояли тут же на столе. Стол поутру был выскоблен и вымыт старательною рукой Катерины Степановны, и вообще в тот день все в каморке столяра показывало, что готовится нечто праздничное, нечто веселое; но веселья было мало. Жених отпускал свои пошлые шуточки, причем встряхивал своими светлыми волосами и хохотал так неистово, что тусклые стекла и оконницы дрожали и маленький Андрюша, не привыкший еще к дикому хохоту, боязливо прятался за сестру. А сестра неподвижно сидела в обычной позе невесты, поникнув головой и сложив руки на коленях, — и в этой трагической позе было что-то безвыходно грустное, возмутительно тяжелое, тяжелое до одури, до отчаяния. Эта склоненная голова, эти скрещенные руки рассказывали печальную повесть об изменивших надеждах, о страхе перед темным будущим... По временам поднималось пение — не веселее погребального...

Насте нечего делать... Поговорка: не так живи, как хочется, а как можется, — для бедных не поговорка, а закон.

Пьяный Никита храпел на лавке за перегородкой, Степановна потчевала девушек и водочкой и орешками, потчевала и Палашу. Взяла девка горсточку орешков, но ей, как и Насте, орешки не шли в горло. Приятно видеть Палаше слезы Настины, но невыносимо зато ей веселье женихово. «Ишь ржет! Горло-то разорвать бы тебе, окаянному!» — думает Палаша, и ее загадочный, много говорящий взгляд впивается в Федора. А лицо жениха дышит довольством и счастьем; самым беззаботным весельем звучат его разгульные речи, его гомерический хохот, наводящий страх на Андриюшу. Любовно берет жених Настю за руку и тихо что-то шепчет ей... Настя краснеет и молча отдергивает руку... Жених целует ее. «Подавиться бы вам!» — волнуется Палаша и отворачивается от ненавистной четы: сердце ее рвется-разрывается... Похоронным напевом и для нее, как для Насти, звучат песни подружек: от нее Федора отнимают!..

Палаша ложится спать в своей кухоньке, жестка ей кажется деревянная лавка, ночное безмолвие — несносно. Не спится Палаше: свадебные песни и хохот, давным-давно смолкшие в жилище столяра, еще слышатся Палаше; они носятся вокруг нее в ночном безмолвии, не дают успокоиться ее сердцу, отгоняют от нее сон... Воспоминания далекого и близкого прошлого мечутся в ее разгоряченной голове... С детства не привыкла она к покорности и послушанию: с детства слыла она «дикой», строптивою, бедовою...

— Несдобровать нашей Палаше! — толковали про нее на деревне. — Вот те Христос, девоньки, несдобровать... Не сносить ей головушки...

И теперь только Палаша почувствовала, как строптиво, своевольно ее сердце... С таким сердцем, чувствовалось Палаше, действительно недалеко до беды! С таким неугомонным сердцем она всегда себя помнила, с таким сердцем росла она, выросла и стала взрослой. Мать оставила ее трехлетней. Рано отогнала ее суровая бедность от родного дома и заставила мыкаться по свету. Непокойно, тревожно с самых малых лет шла жизнь Пелагеи; но домой, под соломенный отеческий кров, ее никогда не тянуло... Там сидела злая мачеха и

отпугивала своевольную девочку. Своевольная девочка скорее в лес жить пойдет, волков и змей не побоится, чем останется жить с мачехой... Без сожаления и жалоб променяла Палаша пригнетенную жизнь на всем готовом на жизнь вольную, трудовую, на птичью жизнь. Четырнадцать лет оставила она в первый раз родную деревню...

«Земля-то не клином сошлась!» — думала Палаша, отбрасывая назад с загорелого лица свои густые темные волосы и гордо смотря на дорогу, по которой шла она искать себе счастья, подобно какой-нибудь сказочной героине, отыскивающей клад или друга милого.

Ее босые загорелые ноги здоровы и сильны, сильные и ее мозолистые проворные руки. Набойчатая серая юбка спускается немного ниже колен, коротенький шугайчик в заплатах и тесен ей, но ей пока ничего не надо: легкий холщовый мешок с обуткой да с ломтем ржаного хлеба заброшен на спину. Никакой красы ей не надо, не надо никакого наряда; ее умные карие глазки светлы и зорки, бойко смотрят они, осененные темными ресницами; зубы — белы; со щек румянец не сходит; на щеках ямочки видны, — и все лицо весело смеется; волосами длинными и густыми хоть окутывайся, а здоровья много, много... здоровья край непочатый... На сто лет хватит!..

Родная деревня скрылась за высокою рожью; Палаша с упованием, смело взглядывает по сторонам и вперед, на пыльную дорогу, — и идет. Здоровую грудью пьет она здоровый полевой воздух и, потряхивая мешком, идет и идет... Проходит она по лугам, по полям, проходит перелесками; дикие утки в осоке по лужам плещутся; серые зайцы за кустами прячутся; зрелые ягоды краснеют в тени и на солнце; высокие ели шумят и словно ободряют смелую девочку... «Иди, ищи! Найдешь себе место! Иди, иди!» — шепчут старые, дряхлые ели... Девочка идет, идет и наконец в одной глухой деревушке находит себе дело... И стала она жить в батрачках по деревням; сначала ходила она в пестуньи ¹, потом уж ее и в казачихи ² крестьяне брали.

¹ Пестунья — нянька.

² Казачиха — батрачка, получающая деньги за весь год сразу.

Жила она и на пчельнике у старого дяди Тихона, любившего говорить только со своими пчелками да с самим собою. Жила девочка с молчаливым дядей и лето и зиму в дремучем лесу, в избушке, подобной избушке на курьих ножках. Летнею порою, поутру раным-рано и ввечеру, с пеньем птиц сливалось и звонкое пенье Палаши. Зимой, помнит Палаша, ходила она с салазками в лесную чащу за валежником; белки прыгали по деревьям и стряхали на нее снег; по ночам ветер страшно шумел по лесу и шатал их убогую хату...

— Дядя! Волки, кажись, воют! — говорит Палаша, прислушиваясь к вою, раздающемуся вокруг лачуги.

Треск и свист носятся по лесу...

Дядя Тихон не отвечает, мычит что-то, точно прислушивается к завыванию неведомых лесных духов. Но дядя Тихон не боится духов; они добры к нему. Пчелы водятся у него хорошо; роятся и живут дружно и мирно, в любви и согласии.

Жила Палаша и в рыбацкой слободке, на берегу большой реки. В свободное время она раков ловила, красивые раковинки вытаскивала из сыпучего песка. В непогодушку помогала убирать снаряды рыбацкие и смело не раз по темным волнам сквозь дождь и ветер, вместе с отважными рыбаками, ныряла в утлой лодочке по разбушевавшейся реке. Волосы ее ветер раздувал, дождь смачивал их. Молния жгла облака, рыбаки набожно крестились, а девочка плескалась ручонкой по темным волнам и спокойно смотрела, как сердитые беляки неслись по реке, догоняя-перегоняя друг друга, сшибаясь и разбиваясь на берегу белоснежной пеной...

Потом Палаша опять жила по деревням: коров доила, нянчилась с ребятами, стригла и пасла овец, водила коней поить, целую колоду начерпывала воды из колодца; опуская бадью, она без страха склонялась над его зияющим отверстием, даже заглядывала в него на позеленелые, ослизлые срубы.

Раз, когда Палаша пасла овец на поле в версте от деревни, вдруг из-за кустов выбрали два голодные, худые волка и, сверкая глазами, залюбовались на смиренных овечек. Овцы заблеяли и заматались как угорелые; но Палаша нимало не растерялась...

— Вот я вас, серые! Я вас!.. — закричала она во все горло и погрозила своей палкой незванным гостям.

Волки поняли жест и, низко опустив хвост, направились к лесу.

После такого события репутация «смелой» упрочилась за Палашей.

Когда, бывало, вечерняя заря потухала на небе, посылая прощальный привет свой деревне, болотам и лесам, Палаша садилась на завалинку и, качая хозяйского ребенка, пела песни собственной выдумки. И чистые, ясные звуки разносились в вечернем тихом воздухе, разносились далеко по улице и замирали за околицей — над полями и болотными трясиными, исчезающими в тумане...

После того как Палаша впервые пошла из родного дома искать себе счастья, восемь лет протекло; восемь длинных лет тяжелой, работающей жизни. Два года тому назад попала она в город и нанялась в работницы к отцу Василию — священнику егорьевской церкви и хозяину того дома, в низу которого уже двадцатый год проживал со своей семьей Никита Долгий. Здесь-то столкнулась Палаша с Федором Гришиным, столкнулась на беду себе, на радость искустителю и врагу рода человеческого, как говаривал потом не раз отец Василий.

Не могла заснуть Палаша в эту беспокойную ночь: не давало ей покоя ее неугомонное сердце, горевшее неудовлетворенною, напрасною страстью. На другой день после Настиных «сидин» Палаша опять ходила хмурая, сердитая и грызлась с хозяевами. Хозяева недоумевали: «Что это делается с Палашкой? Вот уж, почитай, третий день путного слова от нее не добьешься...»

Недели через две после описанных происшествий выходила Настя на помост егорьевской церкви под руку с мужем Федором Гришиным. Сероватый летний вечер уже темнел; небо пасмурное, угрюмое встречало новобрачных; дождливые облака низко ползли над городом; низко носились стрижи; ветер слабо вздыхал, и задумчиво шептались березы вокруг церковной ограды. Так же серо и пасмурно, так же бесцветно, как небо, представлялось теперь Насте будущее... Увел ее муж на край города и ввел в подвальный этаж большого каменного дома, где жила Федюхина семья, то есть он с матерью-старухой и двумя сестрами.

Жилье состояло из одной довольно большой, но сырой и грязной комнаты, с низким, всегда мокрым потол-

ком, с провалившимся полом, с закоптелой печью, с двумя маленькими оконцами и с дверью, отворяющею туго и с невыразимо жалобным воем. Через эту-то плачущую дверь, плача, вступила молодая в мужнино жилище — в чужую семью.

Мать Федора, желтая костлявая старуха, пронырливая и сварливая, считалась одною из главных кумушек в городе. Максимовна хотя и не очень часто переступала за порог своего дома, но знала все городские новости досконально. К ней ежедневно со всех сторон слетались, как воронье, всевозможные старушонки в платках и рваных черных капорах, в кацавейках и салопчиках на заячьем меху, — слетались растрепанные, долгоязычные и наносили новостей с три короба. Вся жизнь болотинских обывателей разбиралась по ниточке в подвале всеведущей Максимовны.

Старшая сестра Гришина, Меланья, старая дева, существо жесткое и сухое нравственно и физически, между своими называлась «богомолкою» за то, что во дни далекой юности ей как-то удалось пробраться в киевские пещеры... Она, впрочем, не стесняясь, уверяла всех, что корабль носил ее и в святую землю, что и она, «грешная», город Ерусалим сподобилась увидеть и что она, «недостойная», ко гробу господню припадала... Бойко рассказывала «богомолка» о черных арапах с белыми глазами, о зверях «необыкновенных», о лесах дремучих, о песках сыпучих, о реках, бегущих вспять, и о тому подобных дивах стран далеких.

Младшая сестрица Гришина, Марфа, была дева лет двадцати пяти, толстая, жирная, немного с придурью. Глядя на ее весноватое лицо, на нос, постоянно замаранный в сажу, на вечно заспанные глазки, Максимовна не раз думала: «Глупа, мать моя, глупа! Да ничего! Дуракам-то лучше...» Тяжело вздыхая, выслушивала мать глупые Марфины речи...

Любовников Марфа меняла, как дерево листья, каждую весну. В настоящее же время в качестве возлюбленного при ней состоял живший от них неподалеку повар, которому она казалась и очень привлекательною и очень умною женщиной. Каждый вечер, после барского ужина, повар являлся к Гришиным и приносил кое-какие остатки от господской трапезы — кусочек-другой жаркого, чашку соуса или несколько штук пирожного. Повар будучи

человеком грамотным и довольно начитанным, не раз остроумно замечал Максимовне:

— Мы с вами, как Лазари бедные, крупницами питаемся...

При этом повар набивал себе в нос добрую щепотку табаку и хихикал своим дребезжащим смехом.

Его негладко выбритая борода, одутловатые щеки, его красно-сизый нос и лысина, окруженная редкими прядями жиденьких волос, нравились Марфе; а старуха мать не брезгала «крупницами со стола богатого».

— Николай Михайлыч такой прекрасный человек, право! Обходительный такой, ласковый... — говорила Максимовна кумушкам, а те, точно ничего не зная, поддакивали хором...

— Человек хороший, что и говорить! — вещали хищные птицы.

Сестра же «богомолка» от угощения хотя и не отказывалась, но за глаза сильно порочила сестру-развратницу и повара-вора. Марфа же, по своей глупости, не умела пользоваться ослеплением своего возлюбленного, и все его подарки переходили в руки матери да «богомолки».

Самого же Федора нельзя было назвать ни особенно разгульным, ни особенно развратным парнем. Правда, он пил и в пьяном виде шумел и буянил, но пил он не от великой радости, как вообще русский человек, и в буйстве особенного удовольствия не находил. Целые дни, месяцы и годы проводя в сарае на льняном заведении купца Синеусова, целые дни, месяцы и годы бродя словно в царстве теней, сам как тень, — в среде жалких, испитых и бледных, задыхаясь в душной, пыльной атмосфере, работая с утра до ночи из-за копеек, работая до боли в груди и все-таки не будучи в силах жить по-людски, Федор ожесточался и свое дурно сознаваемое ожесточение топил в вине. Понятно бы сделалось его недовольство своею судьбою тому, кто увидал бы, как Федор в тускло освещенном сарае, стоя в облаках костицы и пыли, изо дня в день крутил веревки и кашлял, кашлял до надсады. Подобный же удушливый кашель раздавался и по другим углам обширного сарая.

Но Федор — живой человек. Вопреки злой участи захотел он попытать своего счастья; захотелось ему, голяку, свить гнездо, пожить с женой. Настя-то ему

больно по нраву пришлась. «Квартира есть! — раздумывал Федор, намереваясь сделать предложение Насте. — А где трое едят — четвертый сыт будет... дело известное! А девка-то она работающая, красивая и тихая такая...»

В такую-то семейку попала Настя прямо из церкви под вечер сероватого летнего дня...

IV

Искатели счастья

Воля всегда заманчива, но во сто крат она заманчивее для того, кому ее дают отведать и снова отнимают.

Если бы Степка с Алешкой не выходили по праздникам из своих смрадных подвалов на божий свет, то подвалы им не представлялись бы так скучны и мрачны, а божий свет не казался бы им так привлекателен и мил, как теперь, то есть когда они видали уже лучшее, нежели подвалы, и были знакомы хотя на мгновение с жизнью на свободе. Братьям, при разных обстоятельствах, уже не раз приходила в голову одна и та же мысль — мысль освободиться из подвальной, забивавшей их жизни. Средства же к освобождению братья выискивали весьма различные, соответственно своим характеристам...

Степка, подобно лисице, готов был на брюхе выползти из норки и осторожно, незаметно перегрызть сети, опутывавшие его. Алешка же, как волчонок, хотел одним скачком вырваться на вольный свет и разом, как ни попало, порвать веревки.

Степка, как более слабый и трусливый, естественно должен был отвергать все те средства, которые носили на себе хотя малейший отпечаток насилия: чтобы с успехом воспользоваться теми средствами, нужна была сила, смелость, решимость, то есть именно то, чего не доставало Степке. Но взамен силы физической и смелости лавочническая жизнь развила в Степке другие качества; другие средства указывала она Степке для освобождения. Мальчик ежедневно — сначала хотя-нехотя, а потом по собственному желанию — брал уроки в низкопоклонничестве, в притворстве и хитрости; на каждом шагу учился он пронырству и лицемерию. Понятно, что

Степке казалось гораздо безопаснее освободиться из-под дядиногo аршина путем хитростей и лицемерия, чем путем открытой борьбы. Со старшими Степка с виду станет обходиться почтительно, у хозяина будет ручку лизать и осторожно станет припрятывать в свою потайную копилку гроши и копейки, а когда наконец из грошиков и копеечек составятся рубли, — он отойдет от обокраденного им дяди Сидора и тогда уж всласть может всех поругать... «Наплевать на него, на старогo черта! — думает Степа. — Место получше найду...» В конце же концов, после нескольких перемен хозяев, Степка сам откроет лавочку, назовется Степаном Никитичем и пустится обмеривать, обвешивать покупателей и бить по головам мальчишек... Плутовать же Степка почитает необходимостью: он уж слышал не однажды, что «правдой не проживешь». Таким-то образом Степка будет на воле...

Алешка же, как более сильный и энергичный, как более скорый на всякую расправу, презирал все медленные средства для достижения целей и в окольных путях, превозносимых Степкою, видел только излишнюю трату дорогого времени; его горячая натура никак не могла примириться с горькою мыслью, что для того, чтобы выйти на волю, — должно целые годы, лучшие годы склоняться и терпеть. Он смеялся над планами брата, которые казались ему слишком баспословными. «В купцы угодить хочет! Ах, шут его возьми!» — думал сам про себя Алешка, с веселым удивлением прислушиваясь к хитрым речам брата-пролазы.

— Полно ты! Возьмем — убежим, да вот те и вся недолга! — говаривал старший брат.

Он засучивал рукава своей рубахи, обнажал muscularную руку и; хмуря брови и постукивая неистово в грудь кулаком, свирепо шипел:

— Р-р-разобью!

Степка покачивал головой и благоразумно замечал, что тише едешь — дальше будешь, а что — если послушать его, Алешку, — так можно, пожалуй, и шею сломать. Не свои слова, но слышанные от дяди Сидора, повторял мальчуган. Хотя он и говорил таким образом, но освободиться из-под власти железного аршина и погулять на свободе ему шибко хотелось: детская живость брала-таки свое... Отважиться же самому на какой-

нибудь решительный шаг — сил не доставало у Степки. Вот если бы вдруг каким-нибудь чудом, по щучьему веленью, по Степкину прошенью — унесло его из-за прилавка куда-нибудь подальше, где бы он был в безопасности, где бы его не схватили, не притащили его домой и не отодрали, это было бы очень хорошо.

За Степку давно уже думал Алешка, думал и обдумывал множество планов, более или менее грандиозных. Алешке, например, в часы досады и боли, после колотушек кума-философа думалось: как бы этак убежать на край света белого, убежать от всех этих дьяволов туда, где не обижали бы бедных ребят, не терзали бы их!.. Слышал Алешка о каких-то морях, о китах-рыбах, о таких благословенных землях, где во веки веков зимы не бывает, где всегда лето теплое, где круглый год ягоды растут, цветут цветы, где люди только пшеничные пироги едят да горелкою запивают... Но убежать в эту благодатную страну представлялось делом невозможным. Если бы путь был слишком опасен или долог, Алешка бы, конечно, не остановился: по острым, режущим камням, по колючей траве, по горячим плитам, мимо всяких змеев-горынычей ушёл бы Алешка в ту землю. Да в том только беда, что никто не может указать: где эта земля лежит. Алешка отбрасывал лучезарные мечты о пшеничных пирогах, о людях, не обижающих своих ближних, и останавливался на более простом и удобоисполнимом.

Однажды вечером в лавочку к дяде Сидору забрел слепой старик.

— Пожертвуйте на погорелое место! Пожертвуйте, благодетели — отцы родные! — шамкал старик.

(Лето в тот год стояло сухое, жаркое — и много лесов и деревень сгорело вокруг Болотинска, как и по всей России.)

В ту самую минуту, как взмолился старик, один сердитый покупатель, обманутый дядею Сидором, выходя, бросил медные деньги на прилавок. Деньги упали на пол и покатались.

— Ах, черт бы вас!.. — с досадой вскричал дядя Сидор, ища раскатившиеся деньги. — Пошел вон! Чего стал тут? Шляются только... Эй ты, прогони его!

Лавочник мотнул Степке головой.

— Уйду, батюшка! Уйду, родной... — смиренно шеп-

тал старик, испуганно поводя своими мутными глазами и ощупывая костылем порог.

Услужливый Степка подлетел к слепцу и, в угождение хозяину, так толкнул беднягу, что тот повалился с крыльца и своей лысой головой угодил о тротуарную тумбу. Пока старик стонал и охал, сидя в пыли на мостовой и ища свой откатившийся посох и шапку, Степка заметил, что неподалеку от лавки в тени забора стоит Алешка и молча подманивает его к себе. Степка, осторожно притворив стеклянную дверь, шмыгнул с крылечка и подбежал к брату.

— Чего ты? — спросил он.

— Побежим, Степуха! Я за тобой... — шепнул ему Алешка, фыркая и натягивая на затылок свою зеленоватую фуражку.

— Куда?

— К бабке...

— Да как же это?! — заикнулся было младший брат, робко оглядываясь на стеклянную дверь лавочки, откуда, как ему чудилось, сурово и строго смотрело на него желтое лицо дяди и мелькал страшный железный аршин.

— А так же! — передразнил Алешка. — Убежим, да и шабаш! А ты коли боишься, так леший с тобой... Я и один пойду... Корпи за прилавком да облизывайся, а я побегаю за тебя, погуляю... Так не пойдешь, что ли? — настаивал Алешка, не давая Степке опомниться, словно бы у него под ногами земля загорелась.

Степка хотя и знал, что Алешка давно уж задумывал удрать от сапожника, но теперь он был сильно ошеломлен таким прямым предложением. Прежде Степка только подсмеивался над замыслами брата и теперь никак не мог переварить сознания того, что Алешка уже бежит, совсем готов в путь, да и его зовет с собой в дорогу... Растерянно, нерешительно смотрел застигнутый врасплох Степа: совершенно различные чувства взволновали его на мгновение, — чувства сильные до того, что он не мог двинуться ни вперед, ни назад. Его разбирала охота бежать и пугало бегство и его ужасные последствия, которые могли бы весьма неприятно отозваться на его спине. «Бежать! Ух, славнo!.. Ой, страшно!»

— Ну, чего думать-то! — торопил между тем Алешка,

переминаясь от нетерпения с ноги на ногу. — Я уж тебя, дурня, не выдам. Будем друг за дружку стоять... У меня, видишь, в ногах-то воробы... А у тебя не гвоздями ли сапоги-то прибиты?.. Да ну же!..

Степка как существо физическое слабое; всегда и прежде в мелких шалостях питавший уважение к силе и смелости брата, почувствовал в ту минуту внезапный прилив решимости и доверенности к Алешке. И Степка, в чем был, так и побежал за Алешкой попытать под защитой сильнейшего вольной жизни.

Мигом очутились беглецы за старинной городской заставой... Заставы-то, собственно говоря, и не было, а уцелели от нее только два каменные столба, от которых в ту и другую сторону шел вокруг Болотинска высокий вал, местами осыпавшийся, — памятник времен давно минувших, тех времен, когда Болотинск занимался не одной только торговлей хлебом, пенькой и льном, но и ратовал с поляками под высшею охраною своих чудотворцев, мощи которых и до сего дня покоятся в одном из его богатейших монастырей.

Братьям было жутко на первых порах: все им казалось, что их подстерегают, что за ними гонятся пьяные сапожники, дяди Сидоры с железными аршинами. Беглецы лишь тогда успокоились и вздохнули свободно, когда за пригорками скрылись у них из вида блистающие куполы городских церквей и высокие шпили колоколен, когда они свернули с большой столбовой дороги на проселок, разулись, вскинули сапоги на плечи и пошли по полям.

В тридцати верстах от Болотинска, в селе Неурядном, жила их тетка, старшая сестра Катерины Степановны, старуха древняя, одинокая. За глаза старуха любила племянников и часто посылала им деревенских гостинцев — то пирожка с овсяной крупой, то горошку, то вяленой репы. Но когда они, бывало, с матерью являлись к ней в гости, вертелись в ее тесной избушке, галдели у нее над ухом день-деньской, подымали в хатке дым коромыслом, тогда старуха не любила их; она ворчала на ребят, обзывала их «озорниками» и вообще относилась к гостям не очень-то гостеприимно и ласково. Алешка помнил дорогу в Неурядное и, напевая свои любимые песенки, вел брата к «баушиньке», как звали они тетку. Степка хотя и не мог сразу развязаться с воспо-

минанием об аршине и оставленном прилавке, но все-таки невольно мало-помалу поддался приятным, беспечальным чувствам, которые на него навевались и с голубых небес, безоблачных и чистых, и с бесконечных, неоглядных полей, и с зеленых луговин, и с пахучих сосновых лесов, заманчиво синевших вдаль...

Братья спокойно шли по тропинкам среди буревшей ржи. На них из-за ржи приветливо выглядывали лиловые колокольчики, синие васильки; под ногами их пестрела розовая приземистая макушка и белые цветочки «куриной слепоты». Приветливо глядело на них вечернее солнышко, подвигаясь за леса, и ветерок нежно и любовно опахивал их разгоревшиеся лица. Пенье птичье, звонкое стрекотанье кузнечиков, тысячи живых звуков носились в воздухе, напоенном ароматом цветов и трав...

На канаве братья сделали привал, отдохнули. Они уже отошли верст десять. Набрали они тут земляники и наелись ее всласть. Алешка кстати сорвал желтый цветочек дикого цикория и, дуя на него и потряхивая, грижды проговорил: «Поп, поп, поп! Выпусти собак! Барин едет, поле топчет!» Из середины цветка действительно на зов Алешки показались черные букашки и живо расползлись по лепесткам и стебельку цветка. Затем братья подошли к неширокой, быстрой речке, походили по ее обрывистому берегу, поискали стрижей в норах и, не изловив ни одного стрижа, стали купаться.

— Вода-то какая холодная! Ключевая, надо быть... Ух! Бррры... — кричал Алешка, очевидно чувствовавший себя так же хорошо, как птица, вырвавшаяся из клетки на давно желанную свободу. — Ты саженьями плавать умеешь? Эй, Степуха! — спросил он брата, булькавшего у берега.

— Не умею! — отвечал Степа и, пока брат искрешивал реку вдоль и поперек, ловил раков. — Смотри-ка! Экого я дерганул... Алеха, слышь! — крикнул Степка, показываясь над водой и держа в руке черного большого рака. Рак извивался, потягивался и конвульсивно расправлял свои клешни. Степка с громким смехом бросил его в воду. Алешка между тем на всевозможные лады показывал брату свое плавательное искусство, нырял и плавая то на животе, то на спине.

Теплая тихая ночь застала братьев-беглецов в небольшом перелеске. Братья скинули свои дырявые каф:

таны и улеглись на мягкую траву; кочка служила им подушкой, а пологом склонялись над ними ветви старой ивы... Молодой бледно-зеленый ельничек, олешняк и сосны поднимались вокруг них то темными группами, то поодиночке... Степке казалось, что сосны и ели сторожат их; Алешка ощущал сильный голод и, облизываясь, мечтал о том, как он завтра славно поест у ворчливой «баушки»... Ни один листочек склонившейся над ними ивы не шевелился; не дрожал в вечернем, неподвижном воздухе даже и лист проклятой, вечно шелестящей, трясущейся осины. В густой осоке лягушка громко квакала, кузнечики отбивали свой бесконечный марш, далеконок где-то коростель от поры до времени подавал свой скрипучий голос... Искатели воли, искатели земли обетованной скоро заснули, убаюканные однообразными ночными звуками. Богатырски крепким сном заснул Алешка, бросив последний сознательный взгляд на свои дырявые сапоги, повешенные им на ивовом суку. Спокойно спал он всю ночь до солнечного восхода, до тех пор, пока холодная роса не заставила его проснуться, смочив его всклоченные волосы и рубашонку. Степка же, тревожимый снами, в которых главную роль играл железный аршин, часто пробуждался; но, видя над собою не своды душного подвала, а все то же тихое ночное небо, скоро успокоивался. Взглядывал он на далекие звезды, на бледную полосу Млечного Пути и смыкал глаза. Но страшный дядя Сидор будил его снова, а тихое ночное небо вновь успокаивало и лесное безмолвие вновь усыпляло его. Перед самым утром приснился Степке рак. Огромный черный рак навалился на него и душил, впиваясь в него своими большущими клешнями. Степка со стоном повернулся на другой бок, проснулся и больше не засыпал...

Около полудня дошли братья до богатого села Неурядного и постучались у бабкиной избы...

— Кой тут леший! — раздался из избы хриплый старушечий голос. — Не заперто... Потяни веревку-то!.. Э-э! Соколики! Отколе вас бог несет? — брюзгливо спросила бабка, завидя своих баловников.

— Из дома, баушка, из дома. Поклон те посылают наши! — бойко ответил Алешка.

Старуха, растягивавшая в ту пору на печке какую-то грязную мокрую тряпицу, принялась ворчать, — и было видно, что она не очень-то рада незванным гостям.

Но когда Алешка, подсевши к ней, запел лазаря и поведал весьма трогательно: каким образом, почему и для чего они, «честные братаны», явились к ней; когда, наконец, Степке удалось выжать из своих серых глаз несколько слезинок, баушка мигом преобразилась. В воображении ее племянники живо нарисовались «несчастненькими», которых люди преследуют, за которыми гонятся по пятам, которых надо приютить, спасти от беды...

Большой горшок завары¹ явился на столе, затем старуха принесла кринку молока, не снятого, а славного, густого молока; нарезала толстые ломти хлеба и ласково, нежно погладила ребят по головке.

— Перекусите, болезные! — сказала она, с сожалением взглядывая на ребят своими давно потухшими глазами. — Уж какое житье в чужих людях!.. Знамо дело! Кусочка-то, поди, с добрым словом не бросят; только, поди, и норовят: как бы в зубы...

— Ой, баушинька! Как еще быют-то!.. — с жаром подхватил Алешка, уплетая за обе щеки вкусную завару. — Намеднись выстегали, так — вот те хошь с места не встать — целую неделю нутро подводило... Хозяин-то злющий! Такого аспида поискать... А его вон по голове... — Алешка показал на брата. — Чуть до смерти, баушка, не зашиб...

— Экое зверье какое, подумаешь! Никакой жалости... Охо-хо, грехи...

Старуха разжалобилась грустной повестью Алешки чуть не до слез, вздыхала и охала...

В то время как братья искали воли и на воле счастья и лучшего житья, Настя скрепя сердце присматривалась к тем чуждым для нее людям, к которым толкнула ее судьба. Что свекровь и золовки ее терпеть не могут — это Настя заметила скоро. Да и могли ли свекровь и золовки относиться к ней доброжелательно? Решительно не могли. До появления Насти привязанность Федора, а с нею и деньги и имущество принадлежали всецело, нераздельно Максимовне и ее дочерям. Они уже давно боялись женитьбы Федора, — и вот страхи их осуществились; все худшее, чего они боялись, исполнилось: Федор женился. Теперь мать и сестры на второй план отодви-

¹ Завара — крутая каша из крупносмолотой ржи.

нуты; теперь Насте несет Федор все, что прежде приносил своим родным. Теперь все его симпатии лежат к Насте, принадлежат бесспорно, бесповоротно ей одной, и интересы его тесно смешались с ее интересами, в ущерб интересам матери и сестер. Умри Федор, — и имущество его перейдет к его детям, к Насте, а не к матери и сестрам. Если бы Настя была любовницей, они с ней сошлись бы как-нибудь, но она законная жена. Она, значит, враг их до гроба. Положим, Федор в настоящее время — голяк; но ведь он — человек мастеровой, работающий и дело знающий; ведь он, не сегодня, так завтра, может разжиться, поскопить деньжонок малую толику. Как же им не злиться на Настю, отнявшую у них Федора со всем его имуществом, настоящим и будущим!.. Хотя Федор и до женитьбы не отличался особенною ласковостью в отношении родных, да все-таки подчас от него выпадало доброе слово. А теперь уж от него и того не добьешься. Все, все отняла бедная Настя.

Все это было передумано родственниками еще до появления молодой невестушки. Сестра-богомолка прежде всех начала свою ненависть проявлять... «Теперь уж что за житье нам будет, прости господи! — ворчала она сквозь зубы. — Грех один пойдет... Теперь уж Настька что скажет, то братец и сделает. Все по-ее будет...» Максимовна тоже чувствовала, что в ее владениях новый человек завелся, человек, отдаливший от нее сына, вставший ей поперек горла, лишняя спица в колеснице начала скрипеть...

И принялись мать с дочерью старательно критиковать Настю, все ее движенья, все ее манеры, слова и поступки: не так она и капусту-то рубит, и говядину-то очень крупно крошит, не так-то она и ластовицу¹ вставила к Федюшиной рубашке; и ходит-то она по-утиному, и глядит-то ровно пришибленная, и ничего-то в ней хорошего нет, и телом-то она не взяла, и за что только Федор взял ее, на что он позарился и т. д. Только Марфа большого внимания не обратила на свою сноху; но и она заодно с сестрой и матерью глупо хихикала исподтишка над Настей и рассказывала своему любезному с чужих слов о том, какая потешная у них Настька...

¹ Ластовицы — четырехугольные разноцветные вставки подмышкою у мужских рубаш.

Молодая скоро подметила, что мужнины родные — ее первые, самые злющие враги. Скоро убедилась она на деле в справедливости своих предположений. Воркотня матери, часто вовсе беспричинная, косые взгляды сестры-богомолки, дурацкое зубоскальство Марфы доказывали, как дважды два — четыре, что спуску ей не будет даваться, что под нее станут подкапываться и на каждом шагу отравлять ей жизнь — и без того тяжелую, безрадостную жизнь. Максимовна с богомолкою проводили, что за безропотное и смиренное существо их невестушка, впрягли Настю в работу и сели, как говорится, ей на шею... Они, словно сговорясь, стали гнать ее с первого же дня сожития. Сначала, разумеется, злоба их должна была удовлетворяться только насмешечками, взглядами да летучими замечаниями вроде: «Ах, какая же ты, Настасья, неповоротливая!» Дальше идти было рано: Федор, как человек еще сильно влюбленный, не дал бы ее в обиду.

— Настя! Ты у горшка край-то отбила? — спросила ее раз поутру свекровь.

— Нету! Он отбит уж и был! — отвечала Настя, смутившись. — Я горшок-то взяла, а он и вывалился...

— Поосторожнее надо! Три копейки за горшок-то заплатишь... большой такой был... — вполголоса заметила мать, зевая, как будто бы не придавала особенного значения отшибенному черепку.

— Да и горшок-то был новешенек... перед Николой только что купили... — вмешалась богомолка.

— А ну вас тут и с горшком-то! — крикнул Федор и раздражительно заискал в кармане денег. — Купи им, Настасья, завтра новый, как на рынок пойдешь...

— Ладно! — ответила Настя, а богомолка бросила на нее змеиный взгляд.

Родственники сообразили, что задевать молодуху в присутствии мужа неудобно. Зато уж когда Федор уходил на работу, Насе доставалось за все про все от любезных родственников. Стала Настя терпеть, как и прежде терпела, стала привыкать к этому семейному аду.

Но как Настя ни научилась терпеть, как ни была она покорна и смирна, но и она могла иногда возмущаться. Так, когда однажды богомолка чуть не ткнула ее носом в лохань, Настя не выдержала...

— Чего тычешь-то? Лохань-то и без того вынесу... —

голосом, полным горечи и слез, заметила она своей гонительнице.

— Ишь ты! — запищала та. — Ишь фря!.. Мы ли — не мы ли? Фу да ну!..

— А ты не тычь! Вот что! — и Настя, ничего больше не говоря, вылила помои:

Вечером, воротясь с работы, Федор нашел свою молодую жену в слезах, а родных своих — в чрезвычайно смиренном расположении духа, подобном тому расположению, в каком бывает кошка, полакавшая молока прямо из кринки. Из неопределенных, отрывочных ответов Насти он только узнал, что ее обидели, — и надулся. В комнате было тихо; мать лежала на постели, богомолка смиренхонько сидела за работой у стола.

— Я знаю тебя, ехидная ты девка! — заговорил наконец Федор, обращаясь к старшей сестре, и обругал ее нехорошим словом.

Сестра запричитала, за нее пристала мать, — и в комнате поднялся ужаснейший вой. Максимовна жаловалась, что сын родной ее в грош не ставит, в гроб хочет свести. Богомолка вопила пуще того: брат хочет выжить ее из дома, просто им, бедным, покоя нет.

— Все-то у нас было тихо да ладно, поколе ее не принесло! — голосила она сквозь слезы и в душе клялась-божилась, что каждая ее слеза отольется Насте сторицею.

И отлилась!..

Ничем не легче стало Насте после этого вечера; пуще озлились на нее любезные родственники. Мучительно-длинны показались Насте первые три дня в чужой семье, а потом дни пошли скорее, но радости не приносили никакой, только одно горе. Гора было много. Насте словно на роду было написано с горем жить, с горем любить и в землю с горем сойти...

V

На родном пепелище

Братья-бродяги между тем жили-поживали под гостеприимным кровом жалостливой баушки. Жилось беглецам недурно. Ели и спали они вдоволь, никто их не тревожил, не гонял их туда и сюда, не помыкал ими,

как собачонками. На улицу, правда, днем они не смели показываться, но зато гуляли в огороде сколько душе угодно, выбегали в поле украдкой, бродили по лесу за ягодами и за грибами; ночевали они у баушиньки на вышке, и сон их по ночам был спокоен. Всего же более красила для них жизнь полнейшая уверенность в безопасности: их не отыщут, бабка никому не выдаст их. Жили братья и уходить не думали; бабка не думала гнать их. «Пусть поживут! Душеньку хошь отведут маленько, — думала старуха. — Ребята ведь еще... Что с них взять-то?!»

Но такого рода свобода, не признанная окружающими, воровская свобода, — со временем не стала удовлетворять братьев, как удовлетворяла она их на первых порах скитальчества. Особенно же тяготился такую свободою Алешка.

— Что за черт! Никуда не смей показаться, носа не высунь! — роптал он.

А тут на беду да на грех осень подошла; у мужиков по огородам яблоки стали наливаться и зреть; на репищак не столько было лычья, сколько репы, большой да сочной; всяких овощей в тот год уродилось много. Краснобокие кислые яблоки, сочная репа и горох явились большим искушением; братья стали пошаливать, опустошать помаленьку чужие сады и огороды. Им никто бы ничего не дал, — это братья очень хорошо знали; потому своим они могли считать только то, что взяли бы сами.

Собственники же, владельцы садов и огородов, стали беспокоиться: там у яблони сучья обломаны и яблоки околочены, там редька повыдергана, а на гороховища да на репища смотреть стало жаль.

Одна баба, идя рано поутру за водой к колодцу, увидела, как Алешка у избушки старой Ниловны дрова рубил, а брат его, сидя на крылечке под навесом, дудку себе делал из толстокожего растеньица, известного в деревне под именем бота или дидля. Пошли толки по селу о том, что к Ниловне из города племянники пришли, известные баловники и воришки. Ниловна отпиралась, уверяя, что никто к ней из города не приходил, что она ничего и знать не знает, ведать не ведает. Мало ли что могло показаться! Мало ли на нее, старуху, можно напраслины взвалить! Теперь уж братьям при-

шлось скрываться поаккуратнее и смотреть в оба, чтобы не попасться в ловушку. Поужинав у баушки и забрав на целые сутки съестного, они уходили в рожь, подальше за околицу. Там, во ржи, бредяги вытоптали и выровняли для себя местечко, вбили в рыхлую пахотную землю три колышка, выдернутые из плетня, и, притащив из гуменника охапки две соломы, покрыли ею колышки и устроили таким образом шалаш, куда бы им можно было скрываться от непогоды и в ночную пору. Шалаша из-за густой, колосистой ржи не было видно...

Степка к тому времени, отведав сладость свободы, сделался значительно посмелее и развязнее. Он стал уже подманивать брата идти за репой или за яблоками и отваживался на то, о чем прежде и подумать-то боялся.

Бывало, темным августовским вечерком крадутся братья, как тени, вдоль плетней и заборов и, буквально обремененные добычей, возвращаются в свой шалаш. И весело им. Но Алешка все еще оставался недоволен своею участью и на достигнутую им «обетованную землю» посматривал, надув губы, все презрительнее и презрительнее; но, несмотря на темное недовольство и разочарование в «земле обетованной», Алешка все-таки, разумеется, по своей воле никогда бы не пошел изо ржи к куму-сапожнику. Здесь ни аршин, ни розга не угрожает братьям; их не душат, не давят подвальные своды; никакой власти, никакой удержки, — простор необъятный и воля, воля...

Смелее прежнего заблистали глаза Алешки, еще более, казалось, окрепли его мускулистые, сильные руки и здоровая грудь.

— Эко житье-то, Степа! — говаривал он брату в часы примирения с невыгоревшею волей. — А ты было на пятный хотел... Эх ты! Глядь-кось... царские палаты...

Степа лежал и с удовольствием прислушивался, как над рожью слегка ветерок проносился, наклоняя колосья, как птичка песню запевала где-то далеко, далеко.

— Зима-то уже подойдет; земля-то подстынет, снегу навалит сугробищи, — куда мы тогда денемся? — рассуждал Степка, нежась на солнышке, и мысленно строил кислую гримасу при воспоминании о дяде Сидоре.

Степке представилась вдруг живо и ясно зима холодная, вьюги и метели, которые забушуют над снежными сугробами, над теми самыми местами, где они

теперь так привольно-роскошно, так, по мнению Алешки, по-царски живут, под теплым летним небом, под защитой желтых молчаливых колосьев.

— До зимы-то еще далеко... погуляем! А там в работники наймемся, — вот те и весь сказ! — решил Алешка.

Таким образом, подобно кротам, братья весь день до сумерек скрывались в своем логовище, но лишь только над селом Неурядным сгущалась темнота, братья выходили за добычей и гуляли; бледный месяц светил им с высоты, а тень деревьев и кустов скрывала их; росистая трава не выдавала их преступных следов. Но такая кротовья жизнь стала сильно наскучать Алешке, не любившему ползать и ежиться, когда можно было бы ходить прямо, не сгибаясь. Притом и серые туманы вставали над полями все холоднее и угрюмее. Утренники бросали в дрожь бродяг; дожди и ветры разрушали их соломенный дворец, а мутное, плаксивое небо наводило уныние. Рожь бабы дожинали, — и шалаш поневоле приходилось оставить. Думали было братья на время поселиться в старой бане, но не решились: ведь в бане-то «дедушка» живет. Дедушка не любит шутить, как раз придушит...

— Нужно, брат, денег добыть да идти подальше! — сказал брату Алешка в одно прохладное утро, постукивая зубами и ежась от холода в своей плохонькой одежонке. — В работники пойдем... не пропадем!

И, вероятно, хороший работник-батрак вышел бы из Алешки. Алешка ведь не любил только сапожника да то ремесло проклятое, за которое били его нещадно, немилосердно; от дела Алешка не бегал, он был не прочь и косить, и пахать, и жать, и молотить. Не давайте только ему, Христа ради, шила, дратвы, кожи вонючей, не заставляйте сидеть его круглый год в грязных четырех стенах да не бейте его колодкой по голове.

— Не пропадем, брат, ей-богу! — с уверенностью повторил Алешка.

Степка же молча задумчиво рвал сухую, желтую траву, рвал и отбрасывал прочь. Степке, обленившемуся в лавке дяди, пришлось не по вкусу предложение брата. Брат звал его лежебоком — и по заслугам. Похмурился, похмурился Степка и все-таки согласился идти лучше в работники, чем возвратиться в лавку к дяде. Но тако-

вое решение было им принято не потому, чтобы он предпочитал вольную трудовую жизнь жизни лавочнической, подаршинной: нет! Просто влияние сильнейшего и на этот раз взяло верх над его нерешительностью.

«Нужно денег добыть для того, чтобы уйти куда-нибудь подальше», — говорил Алешка. Следовательно, надо было что-нибудь украсть и украденное обратить в деньги. Сказано — сделано. Под навесом сарая отыскивали они однажды ночью соху, сняли сошник и утащили. На другой же день ввечеру братья были пойманы на гумне, за ворохом соломы, при них же нашелся и злополучный сошник... Те же звезды, что и в первую ночь их бегства из города, теперь смотрели на них; но не с прежним чувством взглядывали на них теперь пойманные бродяги. Холодный, сырой ветер свистел вокруг риги и по полю, над пожелтевшим лугом; уныло шумел он над сухими ветлами, и унылую песню напевал он теперь братьям. Распрощались братья с золотой волею.

Со слезами на глазах смотрела баушка в разбитое оконце, как увозили их в город; сухо, злобно смотрела старуха на собравшихся мужиков и на горластого старшину. Скрипя и трясясь, покатились телега по грязной дорожке за околицу и скоро скрылась в кустах. Но не скоро успокоилась старая баушка. Хмурилась старуха; хмурилось серое небо, заглядывавшее в ее тусклое оконце, заклеенное бумагой, позатыканное тряпицами...

В жилище Никиты Долгого, в жилище бедности и труда, весь день с сероватого рассвета до темной ночи пила визжит, стучит топор да раздаются от поры до времени ругательства. Приходят и уходят сердитые, грязные люди, толкуют, спорят, кричат; иногда слышатся глухие удары, удары кулака по человеческому телу, потом прорывается резкий крик, детский плач и стоны. Но визжанье пилы, стук топора все покрывают, все заглушают. Не заглушить им только глухих, слезных жалоб и законного недовольства строитивых сердец.

Никита стругает брусья для рам. Андрюшка с сухой коркой сидит на полу у печки, а кошка, сидя перед ним, умильно взглядывает на корку, зажатую в кулаке Андрюши, — и мяучит. Андрюша отламывает кусочки хлеба и бросает их кошке...

Андрюша был очень добрый ребенок. Его сердце тепло отзывалось на горе и радость всякой бессловесной твари. Горько плакал он, когда мать прищемила кошке хвост в дверях; нежно прижимал он к груди бедную кошку, нежно гладил ее по спине. Только, бывало, прилягут старшие отдохнуть после обеда, Андрюша обшарит все столы, заглянет и к старухам соседкам, достанет пригоршню хлебных крошек, какой-нибудь крупы и отправляется на двор кормить куриц, галок, ворон и воробьев. Сбивчивы были у него понятия о правах собственности, о разграничениях «моего» и «чужого».

— Ах ты, воришка негодный! — ругнула раз Андрюшу старуха, застав его на месте преступления и с поличным в руках. — Ах ты, срамник...

Андрюша в ту минуту подымался на цыпочки и выскребал из стола сухие крошки. Он несколько не смутился, не обиделся и понял только то, что старухе жаль крошек...

— Дюша сходит и купит тебе в булочной сухаей! — утешал он старуху.

Курицы зато знали его и стаями бегали за ним, лишь только показывался он на дворе. Слетались к нему вороны, воробьи и галки, — и Андрюша расхаживал между ними как хозяин.

Вечером, когда Никита оканчивал раму и намеревался зашабашить, так как день приходился субботний и по церквам раздавался благовест ко всенощной, — дверь растворилась и в ней показался полицейский. Согнувшись в три погибели, вошел служивый в жилище столяра, вполоборота оглянул Никиту и пригласил его следовать за собой в часть для получения сыновей, находившихся в бегах. Катерина Степановна, всплеснувши руками, так и замерла от удивления.

Никита натянул кафтан и отправился в часть. Свидание отца с детьми после продолжительной разлуки было не из числа тех нежных свиданий, которые заставляют зрителей проливать слезы умиления. Дома началась обычная расправа. Никита принес большой пучок розог.

Степка с первых же ударов огласил Никитино жилище громкими криками: Степка молил о пощаде и сваливал всю вину на брата. Скоро Никита бросил его. Алешке зато досталось за двоих. Кстати подошел и дядя Сидор, услышавший о поимке братьев-беглецов, и помог

Никите расправиться с сыном. Алешку привязали к лавке и драли жестоко. Андрюша дрожал от страха и тихо плакал, забившись в угол за печку. Алешка же, стиснув зубы, лежал неподвижно под розгами и не подавал ни малейшего признака раскаяния... После экзекуции Алешка, как дикий зверь, бросился на дядю Сидора, вцепился ему в бороду и вырвал из нее порядочный клочок волос. Дядя взревел от боли и ужаса. Алешку опять повалили и истязали ужаснейшим образом.

— Я тебе, дьяволу, красного петуха подпущу! — голосом, дрожащим от злости, прошипел взбешенный мальчуган, вперяя в дядю Сидора взгляд, полный самой ядовитой, непримиримой ненависти. — Мошенник ты этакий! Плут... Мучитель!..

— Ой, парень, парень, уймись! Угодишь ты... Ой, угодишь! — пророческим тоном заметил дядя Сидор, покачивая головой.

VI

Бог свидетель

Вследствие возникших несогласий между Никитой и дядей Сидором Степка был отдан не в лавку, а в трактир под вывескою «Черного орла» в качестве мальчика. Остригли Степку в кружок, надели на него красную кумачную рубашку, напковые полосатые штаны и научили его, как надо принимать, провожать и угощать почтенных посетителей «Черного орла», большая часть которых состояла из купчиков и купеческих приказчиков благодаря выгодному местоположению «Орла», близости его от рынка. «Черный орел» пользовался в городе вполне заслуженною репутацией самого разухабистого, разгульного трактира.

Жизнь в разгульном трактире на первых порах Степке не понравилась; несносно казалось ему не иметь ни минуты покоя, ни минуты свободного времени... Но мало-помалу паренек втянулся в лихорадочно-тревожную, шумную жизнь и стал находить время для гулянья и для всякого баловства. Весь день Степка бегает, встряхивая своими вихрами, суетится, выкрикивает «сейчас-с», подает, убирает и в то же время успевает незаметным образом и тарелки полизать и из рюмок остатки допить,

от чего иногда Степкино «сейчас-с» кажется посетителям чрезвычайно продолжительно, и они в нетерпении стучат ножами о стаканы и тарелки. Вечером, когда в потемневших коридорах «Черного орла» лампы льют свой тусклый свет, Степка дремлет на стуле, но чутко дремлет, и только лишь из залы крикнут: «Человек! Мальц!» — Степка с растрепанными волосами, с глазами, смыкающимися от усталости, со всех ног бросается в залу. Степке только что приснилась колосистая рожь, в ней шалашик, а над рожью — безоблачная синева... Таинственное перешептыванье колосьев отдается еще у него в ушах, теплый ветерок веет еще по его заспанному лицу. А в зале попойка, хохот, грохот...

— Малец! Сюда еще графин очищенного! Живо! — орет молодой приказчик, раскрасневшийся как рак. — Гулять так гулять! Эх да ну! — приказчик визжит от удовольствия.

— Полóхало ты этакое! Право, полóхало! — замечает ему пожилой купец, потягивая чай. — Жена молодая — полгода, как женился... ждет, поди! А он — вон...

— К лешему ее! — орет молодой гуляка, выпускает какую-то дику руладу, пóхожую и на конское ржание и на собачий лай, и энергически отплеивается.

В бильярдной стучат шары; в буфете звенят рюмки и стаканы.

Степка таращит глаза и не может еще в толк взять, чего требуют от него купцы.

— Водки! Водки, тебе говорят! Оглох, что ли! Дай-ка я тебе уши-то раздери... — пьяным голосом вопит гуляка.

Степка стушевывается и через минуту является с графином на подносе. Дикий хохот, шум и гам глушат Степку.

Но Степка не только что привыкал, но даже входил во вкус этой грязной, безобразной жизни, которая изо дня в день, как страшный сон, проходила по залам и номерам «Черного орла», проходила, унося с собою, как в бездонную пропасть, человеческое здоровье и деньги, а с ними счастье и благосостояние семей. Здесь же, под кровом рокового «Орла», удалось Степке сделать первый, робкий шаг по дороге разврата. Не по дням, а по часам, как говорится в сказках, старился Степка: лицо осунулось и побледнело, глаза потускли, оттенились

темными, зловещими кругами, потеряли всякое выражение, всякий смысл, и на впалых щеках выступал пятнами болезненный румянец.

Алеша между тем, подобно Степке, также не попал к своему прежнему хозяину, к любезному куму-сапожнику, но по рекомендации зятя Федора поступил на льняное, веревочное заведение купца Синеусова, где давно уже служил Гришин. Пыльная атмосфера сарая, захватывавшая дыхание и сокращавшая не по дням, а по часам человеческую жизнь на целые годы, все-таки показалась Алешке гораздо свежее и привлекательнее той затхлой, гадкой атмосферы ругани и ежеминутных колотушек, которую распространял вокруг себя, как заразу, кум-сапожник и из которой Алешка решил лучше убежать куда глаза глядят, чем оставаться под ее тлетворным дыханием. Алешка, как и все прочие его товарищи по сараю, кашлял и часто хватался за грудь... Но благодаря им каждую весну зато огромные массы льна, веревок и каната сплавлялись на барках в один из русских портов, откуда корабли уносили их в дальние страны. Ценою пота и крови приобретались миллионные барыши.

В то время как Степка зажил под крылышком «Черного орла», — различие в характере братьев обозначилось яснее. Степка выглядел немощным мальчуганом, трусливым, как заяц, блудливым, как кошка. Алешка же хотя несколько и пожелтел от сарайной пыли, но все-таки еще являлся крепким дюжим парнем, буйным, решительным и смелым, как черт. Женщин Алешка презирал, и если бы кто-нибудь захотел разобидеть его посильнее, то его стоило бы только обозвать «девушником»: более унижительного прозвища Алешка не мог и представить. В нем, еще в ребенке, давно уже замерли, отзвучали все нежные, ребяческие струнки. Суровый и строгий, он избежал той грязи разврата и цинизма, которая с ног до головы, как проказой, облепила Степку, разъедала его молодой организм и рыла для него раннюю могилу.

Пока братаны таким образом сживались с своею новою участью, Никита кончил последнюю, шестую раму и отнес их покровскому дьякону. Вышло недоразумение: отец дьякон отказался от рам. Он, по его словам, заказывал рамы сосновые, а Никита ему сделал березовые. Сначала оба говорили ладно, толково, внушительно, за-

тем распустили и наконец формально поругались. Никита упрекнул отца дьякона в отступничестве от своего слова, намекнул на то, как нехорошо такие штуки выкидывать с бедными людьми, что ему бы следовало не только что самому не обижать бедных, а, напротив, еще перед другими заступаться за них. Отец дьякон, мужчина рослый и тучный, даже весь побагровел, слышав резкую, горячую проповедь столяра, пустил густую октаву и обозвал Никиту «пьяницей» и «негодяем», который о семействе не радеет, а все только тащит в кабаки. Кончилось же тем, чего именно и желал отец дьякон, то есть столяр принужден был взять в охапку свои рамы и убраться восвояси.

Несколько дней спустя Никита рядом с покровским дьяконом стоял в камере мирового судьи. Судья, весьма благообразный господин, с умным, открытым лицом, с темною густою бородой, сидел за столом и, сморщив брови, пробежал Никитину жалобу. Над судьей на голубоватой стене висел в овальной позолоченной раме поясной портрет государя; в камере все обстояло как следует. Два писца скрипели перьями; за желтой деревянной решеткой толпился тягущийся люд.

— Так не можете ли прийти как-нибудь к соглашению? — заметил судья, поднимая голову от бумаги и обращаясь к дьякону и столяру.

• Отец дьякон с тупым удивлением свысока оглядел Никиту и саркастично усмехнулся.

— Я только удивляюсь, господин судья, как это он осмелился утруждать вашу милость! — пробасил дьякон.

— Меня всякий может утруждать! Для того я здесь и нахожусь... — перебил его судья, роаясь в бумагах. — Не в том дело... Не можете ли вот прийти к соглашению.

— Да мне что! Мне нечего с ним соглашаться! — строптиво заговорил отец дьякон. — Я, господин судья, жалею только-с, что связался с ним! Ведь его уж все знают...

— Батюшка! Отец дьякон! А, отец дьякон! Перекрестись на образ. Вон образ-то! Перекрестись, скажи... — убедительно говорил Никита, дергая слегка отца дьякона за широкий рукав его рясы и показывая на образ, темневший в переднем углу.

— Господи! судья! Не приказывайте ему меня трогать! — обиженным тоном воскликнул дьякон, с сердцем выдергивая свой рукав из рук столяра.

— Оставьте! — строго заметил судья Никите. — Вы говорите, а не трогайте...

— Так вы никаких доказательств представить не можете? — немного погодя спросил судья Никиту.

— Да как же! — начал тот, видимо смутившись. — Чего тут еще доказательства! Отец дьякон сам меня призвал, да и говорит: «Сделай, говорит, шесть рам; к покрову дню, говорит, чтобы готовы были шесть рам березовых; мне, говорит, непременно нужно...» А я говорю...

— Да вы уж это рассказывали! — перебил судья, трогая свою цепь. — А еще не имеете ли чего? Нет ли у вас письменного условия, записки какой-нибудь? Нет ли, наконец, свидетелей?

— Гм! Какие тут записки! — с усмешкой возразил столяр. — Мы и без записей обходимся, с хорошими людьми потому завсегда дело ведем... А свидетели точно что есть! Вот ихняя же работница...

Никита указал на отца дьякона.

— Федора-то? — лаконично спросил дьякон, впол-оборота взглядывая на истца.

— Прозвища-то уж я не упомяну... Кажись, что Федора... — ответил тот.

— Федоры, господин судья, в то время и дома-то не было... Вот врет-то! — бойко заговорил ответчик. — Месяц уж как она отошла от нас... Не знаю, где она теперь и есть-то... В деревню, должно быть, ушла: родные у нее там...

Последние фразы были произнесены самым небрежным, самодовольным тоном, таким, каким обыкновенно говорит ответчик, почувствовавший, что опасность уже миновала: «С нас, мол, как с гуся вода...»

— Да уж это какой свидетель... Знамо дело!.. — насмешливо заметил Никита. — А вот, ваше высокоблагородие, как перед богом: «Шесть березовых рам, говорит, сделай к покрову, весной еще, говорит, закажу...» Вот тебе и закажу...

— Грех только один... — проворчал дьякон, отворачиваясь от Никиты.

кой стыд должна испытать та несчастная, которую призывают к этому столбу. И Палаша чистосердечно удивлялась тому, как люди не могут воздержаться и доводят себя и других до несчастья, позорят себя. Мало ли, например; наказывают женщин за воровство, за поджоги, за убийства! «Изверги!» — думала она.

Все это быстро промелькнуло в голове Палаши.

— Наказывать кого-нибудь, значит, будут сегодня, — заметил Федор, протискиваясь в толпе с Палашей и с удовольствием заглядывая на ее личико, которое не то от ходьбы, не то от мороза горело ярким румянцем.

Хорошенькая шубейка ловко стягивала ее тонкий, стройный стан. Из-под большого клетчатого платка выбивалась черная прядь волос, — ветер играл ею, то задувая ее назад, то бросая снова на лицо.

— Ведь ныне не наказывают... только читают! — сказала Палаша.

Федор согласился.

— Стегать ныне запрещено! — пояснил он.

Раз встретилась Палаша с Федором таким образом, а встретиться в другой раз было уж легче, и стало как-то приходиться все так, что Палаша чуть ли не каждый день, идя на рынок, встречала Федора и шла с ним. О чем говорили они — знать никому, кроме их, неинтересно. Важны же были эти отрывочные, пустые разговоры потому, что они сближали молодых людей, для которых они, эти пустые разговоры, имели и интерес, и особый смысл, и большое значение.

Федор скоро поддался любовному влечению. И неудавшаяся семейная жизнь, и сравнение Палаши с Настей, невыгодное для последней, так как от прежней цветущей Насти остались только кости да кожа, — все, одним словом, располагало Федора искать утехи на стороне. Найдя же утеху в образе хорошенькой молодой девушки, влюбленной к тому же в него по уши, он не мог выпустить ее добровольно из своих лап и схватился за нее крепко. Мысленно строил он самодовольную улыбку, подсмеивался над бесплодными ухаживаниями извозчика и мысленно с торжествующим, сияющим лицом говорил уже ему:

— Твоя кралечка-то писаная, на которой ты жениться хотел, красавица-то твоя Палаша сама ко мне пришла, сама...

Он уж мысленно рисовался перед обезоруженным приятелем, смеялся ему в лицо и, встряхивая своими длинными волосами, с двусмысленной ужимкой описывал ему Палашины прелести самыми радужными красками.

Как душа прямая и открытая, Палаша никак не могла подумать, что в исканиях Федора было больше пустого самолюбия, чем искренней любви, больше было прихоти и каприза, чем честной привязанности к полюбившей его женщине, которая в своем самоотвержении ни на чем бы не остановилась, лишь бы только сделать приятное своему любимцу. Палаша думала, что и Федор, подобно ей, отдастся ей и телом и душой, отдастся весь, в настоящем и будущем, со всеми желаньями и мечтами, со всеми радостями и печалью, какие только могут встретиться им на неровном пути. Распаленное страстью воображение не давало задуматься ей о том, какую опасную игру затевает она. Сомнениям не отводилось места. Будущее ее вовсе не тревожило. Она в своем безумии все окрашивала в восхитительный, нежно-розовый цвет.

Ночью, бывало, когда Палаша оставалась одна в своей кухне, кровь закипала в ней сильнее, и обольстительный, чарующий образ все ярче и светлее рисовался перед нею во мраке ночи. Судорожно и крепко прижимала тогда бедняжка руки к своей трепещущей груди.

— Милый, милый! — шепчет она, бывало, ломая руки.

В эти минуты для нее не существовало ни людского мнения, ни суждений, ни закона, ни кары, никаких страхов, ничего и никого, кроме Федора и ее любви к нему. До двадцатой весны дожила Палаша, и никогда еще не приходилось ей испытывать ни стольких мук, ни стольких радостей.

Федор же, помышляя о Палаше как о лакомом куске, с чувством пстирал себе руки.

Наконец мечты Палаши сбывались: Федор отбит от своей чахлой жены; Федор льнет к ней, нашептывает ей любовные речи и так крепко и нежно целует ее. А она грустна...

Ее лицо, незадолго пылавшее, побледнело, и она сидя в гостинице «Доброй надежды», теперь поминутно

— Итак, вы никаких новых доказательств не представляете? — спросил судья Никиту голосом, до того невозмутимо спокойным и ровным, что устами его словно говорил сам бесстрастный, холодный закон.

— Нет у меня больше ничего... что тут... А вот хоть с места не встать!

Никита крестился и смотрел на образ. И не знал он, невежда, что без доказательств, по одному его слову искреннему да по божбе, никакой судья в мире не заставит отца дьякона взять рамы и уплатить за них следуемые деньги.

Через несколько минут было объявлено, что в иске Никите Петрову отказывается. Отец дьякон, выходя из камеры, вежливо раскланялся с судьей.

— Теперь, милый человек, уж, значит, шабаш! Теперь уж с ним ничего не поделаешь? — спросил Никита у одного из писцов. (Судья на ту пору вышел закусывать.)

В ответ ему молча только головой кивнули.

Другие тяжущиеся вызывались. Никита хмуро оглянул комнату с пола до потолка и вышел. «Эх вы, рамы мои, рамы! — думалось Никите. — Не спихнуть мне вас с рук...»

А пока Никита судился с отцом дьяконом и призывал в свидетели бога, Андрюша жаловался матери на старуху Спиридоновну.

— Мама! Хоьошо рази она это деает? — говорил внушительно Андрюша. — Ты ушла, а она на меня так посмосьела, да и говоит: что ты, Дюшка-дуа, глазки-то выпучил! Ведь не хоьошо это, мама... Я ведь не Дюшка, а Дюшенька!.. Да, мама?.. И не дуак!

Андрюша, должно заметить, несмотря на грубость и жесткость, яркая печать которых лежала на всех отношениях окружавших его людей, был чрезвычайно впечатлителен и обидчив. Иное бранное слово его повергало в сильнейшее уныние, доводило до слез.

Возвратился отец и ругнул Степановну за то, что обед не готов. Степановна, разобиженная взыскательностью мужа, попрекнула его тем, что он спяна, должно быть, действительно не вслушивался в слова отца дьякона и, вместо того, чтобы сделать рамы сосновые, смастерил березовые...

— Скоро ли еще ужо возьмут их, ищи охотников! — говорила она резко. — Косяки-то оконные не во всех

домах, поди, одинаковы... Не по мерке для тебя сделаны! Таковский и есть... — резко говорила она. — Не трескал бы винища-то своего проклятого, так и было бы поздравее...

Степановна была твердо убеждена в правоте мужа, но говорила таким образом просто со зла. Подлила масла в огонь Катерина Степановна... Никита пуще заругался; жилы раздулись на его морщинистом лбу, губы дрогнули, — и он крепко хватил жену по спине своим дюжим кулаком. Началась драка... Вся избитая, Степановна убежала из дома.

Вечером, когда Степановна возвратилась домой от кумушек, к которым бегала поведать про свою горе, про своего «изверга окаянного», опять поднялся вой, завязалась страшная брань, Андриуша весь бледнешенек сидел за печкой и трясся как в лихорадке; зубы его невольно стучали, когда который-нибудь из родителей сильнее возвышал голос... В самый разгар свалки в дверях показался хозяин дома — отец Василий. Мерною поступью приблизился почтенный человек к ругавшимся.

— Нехорошо, нехорошо, Никита, вы живете! — кротко заговорил он. — С утра до вечера у вас шум да крик: постояльцам покоя не даете. На что же это похоже! — Священник погладил, по привычке, свою бороду и строго посмотрел на своих духовных детей. — Что у вас тут такое? — продолжал он. — Что вы делите?.. Ты знаешь, Катерина, что сказано в священном писании: жена должна покоряться и уступать своему мужу, — он господин ей...

— Господин он... — прошипела жена, враждебно и искося посматривая на Никиту.

— А муж должен снисходить к слабостям жены! — поучал священник, словно бы недослышав замечания Степановны. — Потачки давать ей не надо, но не годится и надругаться над ней. Муж должен защищать жену... А ты!..

— Она, батюшка, и сама — не промах... отгрызется от кого хошь! — с добродушной уверенностью проворчал Никита.

— Ну да... Ну, сказал бы слово, построже бы обошелся, а все-таки уж не так... С утра до вечера у вас брань да возня. Ведь у вас, поди, без непотребных слов дня не проходит... Грех! Большой это грех!

— Да ведь иной раз, отец Василий, удержаться не можно! Вот те Христос, не можно! — возразил Никита совершенно искренно.

— И это грех говорить! — строго перебил его священник, хмуря свои густые брови. — Как не можно! Нет, можно. Ты проси у бога смирения да согласия. Ну, что тут у вас за жизнь, подумайте-ка! Вместо спокойствия только одни раздоры да свары... Нехорошо, Никита, нехорошо! Человек ты неглупый, — пойми то...

Проповедь была хорошая, да не того было надо бедным людям...

Никита слушал, на словах соглашался с проповедником, а в душе не понимал, «как можно не ругаться и не злиться, когда все-то, все-то злит тебя и раздражает...»

Степановна с умилением слушала отца Василия, вздыхала и думала: «Так-то так... грехи наши тяжкие!.. Да ведь дерется-то, черт, больно... Леший этакий, пьяница...»

Священник ушел. Супруги поугомонились.

VII

История одного двугривенного и многих тысяч рублей

Крупными хлопьями валит снег с серого неба, покрывает подмерзшую землю, убеляет крыши домов и церквей болотинских и красиво увешивает сучья голых деревьев. Крупные хлопья снега, кружась, падают и заносят кустарники, и старые липы, и белостволые березы в барском саду, соседнем с домом отца Василия.

Сумеречный свет скуп, словно нехотя, пробирался в конуру Никиты Долгого. Этот сумеречный свет, скупой и жалкий, хлопья снега, липшие к стеклам оконниц, завывание ветра в барском саду, а всего сильнее холодная температура собственного жилья самым чувствительным образом напоминали Никите о том, что зима подходит, что дров надо запастись, а чтобы дров запастись — нужно прежде денег добыть: в кармане же Никиты денег не водится, без ног уходят, проклятые, несмотря на то, что в кармане нет ни одной дыры. Вот Никита и

стоит над своим старым станком и думает бесконечную думу о зиме, о холоде, о своем безденежье.

— Совсем-таки замерзла! — говорит Степановна, входя и крепко захлопывая мокрую, ослизлую дверь.

Сыровато-холодный, удушливый пар расходится по каморке.

— Ветер такой холодяк, просто ужас! — рассуждает Степановна. — И снег-то валит, — света божьего не видно...

Степановна только что воротилась с реки, где целые четыре часа полоскала белье. Лицо и руки у нее посинели от холода; высокие кожаные сапоги намокли и так крепко заскорузли на ногах, что Степановна не могла даже и снять их. «Пусть уж пооттают маленько!» — решила она наконец, выбившись из сил от напрасных стараний стащить с ног тяжелые сапожищи.

— Чайку бы хоть напиток! — проворчал Никита.

— Вчера остатки допили! — ответила жена и, ежась от холода и сырости, отогревая дыханием руки, принялась перетаскивать застывшее белье из салазок в тепло.

Андрюша сидел у окна, завернувшись в старый отцовский полушубок, и смотрел в сад. Сквозь снег и сквозь серые сумерки сад представлялся ему страшным, холодным царством угрюмых великанов, на что-то все сердито ворчавших... Наохлившись, сидели там вороны на скрипучих ветвях и с жалобным, беспокойным карканьем забивали головы под крылья...

Никита тоже потирал руки от холода и машинально примерял брусок к бруску...

Не вокруг уютного чайного стола с весело шипящим посредине самоваром, но сумрачно и пасмурно, также с горем и заботой встречали зиму в Федюхиной семье. И там было холодно; и там думали о деньгах...

Гришин, по причине субботнего дня, возвратился домой ранее обыкновенного и суровее, чем всегда. Таким неприступным и суровым делался он каждый раз, как подходило первое число месяца, а с ним вместе приближался и расчет заработной платы. В настоящий вечер наморщенный лоб и надутые губы ясно говорили о недовольстве.

— Вот Гаврюшке все норовят, как бы дать работу полегче! — ворчал Федор сквозь зубы. — И куделю-то ему отделяют ровную да гладкую, что твой шелк! И по-

кладена-то она ладком, и такая-то длинная, что просто любо посмотреть! А нам таких лохмотьев кинут, такой падерины, что иной раз не проворотишь... Ровно черти всю истрепали! Толку не дашь... Ну, обыкновенно, меньше и сделаешь — меньше и получишь... Это уж так! А подсыпь-ка я этому самому надсмотрщику, скажи: «Митрий Митрич! Так и так, мол, не угодно ли вам компанью сделать, насчет чайку, значит, пройтись...» Глядишь — дело-то и пошло бы на лад... гм!.. Да...

— Куда опять Настасью-то услали? — немного погодя спросил Федор у матери, не видя в избе жены.

— Никуда не отсылали ее, родной! Сама, зная, ушла... — ответила мать так смиренно, что и подумать было бы нельзя, что это та же самая злая, сварливая старуха, которая еще недавно, по ее собственному выражению, «славно этак распушила Настьку».

Муж, разозлившийся на «пса-Гаврюшку» и на «Митрия Митрича», встретил пришедшую вскоре после того Настю целым потоком самых гнусных ругательств.

— Куда тебя леший-то носил? — орал он. — Попадешься уж ты мне под трах-тарарах... Я уж... доберусь до тебя... Я те спину-то вспишу!.. К маменьке, поди, ползала!

— Нету! — ответила Настя, едва переводя дух от усталости и волнения. — В магазин за бумагой ходила.

— Ну! — рявкнул муж с нетерпением.

— Отказал... «Больно, говорит, неисправна стала... а охотниц до гильзошного дела и без тебя, говорит, много...»

Муж опять выругал Настю. И ленива-то она, и не-ряшлива, и беззаботна! Ей только бы на печке лежать, сидеть сложа ручки. Радовались родные, слыша такие жесткие, вовсе несправедливые нападки; плакала Настя, но до ее слез никому не было дела. Без мужа ее заставляли работать, как ломовую лошадь, а при муже нарочно оставляли без дела, чтобы показать Федору, что за дармоедку держат они у себя.

С первого же раза, как уже сказано, в своих новых родных Настя встретила непримиримых врагов, которые с великим наслаждением высосали бы из нее последнюю каплю крови. Пока муж заступался за молодуху, молодухе жилось сносно. Но бедному, как читатель, вероятно, уже заметил, быть добрым и любящим

несравненно труднее, чем пройти толстой веревке сквозь игольное ушко. Враждебные столкновения с ближними, неудачи и обиды, которым Гришин подвергался постоянно, подобно всякому рабочему, печально отзывались и на его отношения к жене. К тому же, словно бы на беду, Настю постигла болезнь, не скоротечная болезнь, но сулившая долгую, мучительную жизнь. Не успел еще пройти и золотой медовый месяц, как Настя захворала. Конечно, если бы полечиться, так можно бы еще захватить болезнь и не дать ей развиваться; но бедным и лечиться-то нельзя. По крайней мере в Болотинске никто еще не знал такого доктора, который ездил бы и лечил бесплатно; говорить же о поступлении в общественную больницу с платою по семи рублей в месяц значило бы просто напоминать прекрасные советы гейневского доктора.

Беспомощно, не обласканная ни одним словом участия, слабела и хирела Настя, тая быстро, как снег под дуновением теплого, весеннего ветерка.

Не по душе пришлось Федору хворость жены; он уж не раз со злостью обзывал Настю «гнилою» и «кошкой ободранной». Не с прежнею горячностью заступался он за Настю и часто, не моргнув глазом, выслушивал, как при нем поносили жену самую безобразною бранью. Любимый жар его стал охладевать в той мере, как сильнее и сильнее заболела и тощала его жена. А тут еще приговоры да разные замечания родных, делавшиеся как бы «между прочим»...

Федор дремлет, растянувшись на лавке, а мать шепотом, словно из боязни разбудить спящего, но таким шепотом, который бы дошел до слуха Федора, говорит кумушке:

— Вот, матушка ты моя, век-то и загубил свой ни за что ни про что... За полушку, за полушку, родная, сгубил себя... Сам-то молодец какой... Поглядеть — сердце радуется! А она-то!.. И месяца-то он не жил с ней... заохала да заохала, да вот и все! То есть так, голубушка ты моя, горько станет, как пораздумаешь... ужасть! Охо-хо!..

Федор не спит, все слышит: материнские злоязычные речи доходят по назначению, западают ему в душу. И Федору стало казаться, что Настька в самом деле его молодецкий век загубила. Опостылела Федору жена,

опостылела вся семья, опостылел свет божий... Родные живо почуяли, что на их улице праздник выходит, и стали смелее нападать на покорную, беззащитную Настю. Сначала Федор оставался молчаливым свидетелем унижения, которому подвергалась жена, а потом и сам начал напускаться на нее. Особенно же опротивела ему Настя, когда он узнал, что, будучи в девках, она «водила амуры» с неким писарем-усачом. Максимовна, давно уже пронюхавшая кое-что от кумушек о знакомстве Насти с писарем, о встречах их в церкви за всенощной, представила теперь сыну целую картину в самом соблазнительном духе и зажгла в Федоре дикую, бешеную ревность к больной, измученной жене.

Очень редко находили на Федора такие тихие минуты, когда он без злости вспоминал о своей прежней, скоротечной любви, когда в сердце его просыпалось сострадание и даже нечто похожее на нежность к бедной женщине.

Раз поутру свекровь страшно за что-то ругала молодуху, сестра-богомолка вторила ей. В ту самую минуту, как Федор смотрел на жену, яркий солнечный луч весело скользнул по заплаканным глазам Насти и по ее уводящему, но все еще милому, симпатичному лицу.

— Ну, полно вам! — крикнул Федор. — Что вы, дьяволы, напустились-то на нее! Вот как возьму да хвачу... — и тут он сделал, должно быть, очень выразительный жест, потому что богомолка тотчас же прикусила язычок и смолкла...

Мать тихо ворчала, а Федор облокотился на стол и, не смотря на Настю, принялся задумчиво стучать пальцами по столу. Он посмотрел на обручальное кольцо, крепко обхватывавшее его толстый палец, и вздохнул...

Но редко находили на мастерового такие минуты, очень редко: недели, месяцы проходили, а Настя не видала от мужа ни взгляда ласкового, ни доброго слова... Теперь уж она нигде не находила себе покоя и защиты: богомолка тычет ее чем ни попало; будит — пинает ногой; есть дает — все кидком да броском. Марфутка глупо хихикает ей прямо в лицо; мать гоняет туда и сюда, — и Настя все сносит и через силу исполняет приказания.

Сегодня утром Максимовна послала ее на реку за водой.

— Жрать-то, матка, умеешь, умеи и работать! — прикрикнула Максимовна на невестку, когда та осмелилась было заикнуться ей о своей немочи.

Накинула Настя ведра на коромысло и пошла, еле-еле передвигая ноги. Отойдя несколько шагов от дома, Настя остановилась и поспешила сесть в сторонке у фонарного столба: силы оставили ее. Когда несчастная попомнилась и приподняла свою отяжелевшую голову, мимо ее проходил писарь с женой — столстою купчихой, дебелие лицо которой было отштукатурено нелепейшим образом: над бровями лежали, как белые ленты, полосы пудры, на носу тоже виднелось белое пятнышко, наподобие нетающей снежинки, а красные и белые пятна на щеках сильно напоминали татуировку диких. Писарь, поравнявшись с Настей, отвернулся в сторону, как будто ненароком. Передохнувши, взялась Настя за ведра и пошла. От дома до реки, то есть на полуверстном расстоянии, она садилась отдыхать по крайней мере раз десять. Понятно, что она запаздывала и должна была весь день терпеливо выслушивать попреки и брань любезных родственников.

Теперь, в описываемый вечер, сидит она, вспоминает свою недавнюю встречу с писарем. И такую-то тварью соблазнялась Настя! Такое-то подлое животное было предметом ее первых мечтаний, ее первых слез!

На егорьевской колокольне ударили ко всеиошной. Максимовна крестилась, крестилась богомолка, крестилась и Марфа, глупо тараща глаза на передний угол, только у Насти руки отяжелели — не поднимаются... Больная, поруганная, всеми оставленная, она молила только смерти у бога. «Вот и с жизнью согрешила теперь! — с горечью раздумывала она, прислушиваясь к благовесту. — Эх, да если бы смертоньку бог послал!..»

А какую, бывало, живую тревогой переполнялось ее девичье сердце, когда с егорьевской колокольни, точно так же как теперь, мерно гудели колокола! Положа руку на сильно бьющееся сердце, с радостью и трепетом прислушивалась она тогда к знакомым, отзывочным звукам, носившимся над городом... В вечернем звоне для нее действительно слышалось благовестие: у Егорья за всеиошной писарь бывал, говаривал с ней по окончании службы и провожал ее домой. Теперь же, прислушиваясь к благовесту, только вспомнила она, что

должна идти за деньгами к одному барину-благотворителю.

В Болотинске, как во всяком порядочном губернском городе, существовало благотворительное общество. Импро-визированные благотворители болотинского нищенства были народ все веселый, разбитной: устраивались спектакли, концерты, лотереи аллегри и просто лотереи — и две трети вырученных денег употреблялись обыкновенно на закуску, на шампанское и вина. Одна же треть раздавалась по мелочам не тем бедным, которые в светлое Христово воскресение разговляются сухой коркою, а в будни умирают с голода, — но тем бедным, что называются приживалками-салопницами, которые всюду, где только заводится благотворительность, составляют многочисленный тунеядствующий класс самых наглых, пресмыкающихся попрошаек. Таким образом, благотворители собирали деньги с простодушных обывателей Болотинска; филантропические желудки наполнялись вкусными яствами и вином, а бедные щелкали зубами.

Кожаные сапоги у Насти изнашивались, подошвы поотстали, да и большой палец левой ноги выставился из сапога. Скоро морозы наступят — Насте нужно заводить обувь. Не могли ничего добиться от мужа и родных, Настя, по указанию добрых людей, обратилась к одному господину, члену благотворительного общества. Настя два раза уже ходила к благотворителю, но дома его не заставала. В последний раз ей лакей наказал прийти в субботу, в семь часов вечера. «Теперь, значит, самая пора и есть!» — подумала Настя, прислушиваясь к колокольному звону, доносивому до нее порывистым ветром.

Более часа простояла Настя в передней у члена-благотворителя, ожидая милостивой подачки и любуясь между тем на мягкий свет, разливавшийся от лампы, накрытой стеклянным матовым шаром.

Наконец вышел в переднюю письмоводитель важного лица и немного покраснел, подавая Насте — двугривенный. Бедная женщина посмотрела на серебряную монетку, повертела ее в руках и мысленно горько усмехнулась над щедрым даянием.

«Какие же сапоги я куплю на двугривенный?» — спрашивала она сама себя, сходя по лестнице, усталой ковром.

Лишь только успела она выпустить бронзовую ручку парадной двери, как снежный вихрь ослепил ее и чуть-чуть не снес с барского подъезда. Больная, усталая, пошатываясь, брела Настя по сугробам, судорожно стискивая в руке двугривенный и не чувствуя, что большой палец ее левой ноги холодеет и пронзительный ветер прохватывает ее насквозь. Зато чувствуется ей, что ветер насмешливо насвистывает ей в уши песенку о двугривенном; насмешливо, чудилось ей, посматривали на нее фонари сквозь бушевавшую по улице вьюгу...

Но нашлась же одна добрая душа — послала Насте три рубля на сапоги...

Это была одна старая вдова, женщина некогда богатая... Более пяти тысяч осталось ей после мужа, служившего долго в приказе призрения, да своих собственных деньжонок насчитывалось у нее тысяч до трех. Капитал, по-провинциальному, имелся у нее, значит, довольно изрядный... И пришла в голову старой вдове несчастная мысль: не умствуя, буквально последовать евангельскому слову. Стала она раздавать свое имущество бедным.

— Просто претит мне пользоваться этими деньгами, как подумаешь, сколько бедноты-то на свете! — говорила она и приводила из евангелия текст за текстом.

Рассуждения родных и знакомых о непрактичности пропускались мимо ушей; денешки уплывали, и от горячего, но неосмысленного стремления получился тот печальный результат, что восемь тысяч куда-то неизвестно канули, а нищих в Болотинске не только что не уменьшилось, а даже, напротив, увеличилось, как значилось в таблице статистического комитета.

Один знакомый говорил раз вдове, что она будто бы просто из пустого в порожнее переливала.

— Почти так... — добавил он.

— Некому, батюшка, поучить-то глупую! — сказала старуха. — Жаль ведь человека... Видишь: с голоду гибнет... ну как не помочь!

— Вы, значит, делали только то, — возразил ей собеседник, — что на ваших глазах не умирали с голода. А теперь, когда у вас у самих ничего нет, вам уж горю не помочь. А после-то вашей смерти... Да ведь, впрочем, сердце ваше в могиле кровью не станет обливаться!..

— Ну, а если бы все богатые взяли бы да роздали свое имущество? — заметила вдова. — Тогда бы, пожалуй...

Знакомый на это чересчур наивное замечание только свистнул и безнадежно пожал плечами.

— Ну что ж! — промолвил он, усмехнувшись. — Даже и в таком случае много-много, если бы по пятнадцатинному на брата досталось... Нет! Это — не то...

VIII

Старое старится, молодое валится

Прошло три месяца.

После трескучих морозов на дворе стояла оттепель: с крыш капало, дорога потемнела, сероватое небо, казалось, совсем было готово расплакаться мелким, частым дождиком...

Вечерело.

Больной Андрияша лежал на лавке; его исхудалое, матовое лицо с заострившимся носиком и светлые кудри, разметавшиеся по подушке, резко оттенялись на черной, закоптелой стене; сухие губы едва шевелились; воспаленные глаза его горели предсмертной тревогой...

— Мама! — прерывающимся, слабым голосом говорил Андрияша, высвобождая из-под дырявого одеяла свою ручонку и показывая на окно. — Там... у беёзы за поенницей... деньги... Дюшины денежки... Васе коня... Тетке Коконе — пятак... А там Насте... Бедная она!.. Тятя! У беёзы... у коявой...

Было видно, что Андрияша сильно спешит высказаться, словно предчувствуя свой близкий конец.

— Слышим, родной, слышим! — успокоивала его мать, глотая слезы и ласково глядя белокурую головку. — Никита! А, Никита! — крикнула Степановна.

— Чего тебе? — спросил столяр, лежавший за перегородкой на скамье.

— Слышь, что Андрейко-то говорит, у корявой березы деньги у него запрятаны, — велит достать их! Коня, говорит, Васе купите, отдайте пятак тетке Коконе, а что останется, слышь, Насте... Бедная, говорит...

Андрияша с напряженным вниманием слушал мать, и,

когда она окончила, он вздохнул и, видимо, успокоился. Его поняли...

— Ну что же! Вынуть деньги можно... — отозвался Никита, бывший на ту пору сильно под хмельком. — Посчитаем твои капиталы... Да ты, полно, не врешь ли, Андрюха?

Отец недоверчиво смотрел на сына.

— Не... Дюха не врет! — прошептал Андрюша и попросил у матери испить водицы.

Никита между тем взял заступ и направился за дрова, где у самого забора росла старая, кривая береза. Разгребши вокруг дерева снег, Никита нашел между щепками и щебнем бумажный ящик из-под спичек фабрики «Гезена и Митчинсона». Тоненький ящик, вероятно, давно уже размок от сырости, потому что лишь только Никита прикоснулся к нему, как он весь развалился и содержавшиеся в нем медные деньги, звеня, раскатились по мерзлой земле. Столяр подобрал схороненный сыновний капитал и сосчитал... Насчиталось восемнадцать копеек серебром — все полushками да денежками, крупнее копейки не было монеты...

— Ох ты, куморка, куморка! — добродушно говорил пьяный столяр, входя в комнату и пошатываясь. — Восемнадцать копеек накопил... Молодчина! Да еще и завещанье делает!.. Ровно умирать собирается... Старость, знать, подошла! Экое дело!..

Столяр шутил, но не шутки и не смех были у него на душе в те минуты.

Глазки Андрюши блеснули, когда он увидел деньги. Степановна при виде «сыновних капиталов» уж решительно не могла удержаться и разревелась. Никита напрасно унимал ее... Степановна выбежала в сени и там тяжело и горько рыдала и, наплакавшись, возвратилась к изголовью умирающего сына.

Теперь скажу, кто были «Вася» и «тетка Кокона» — личности, упомянутые в завещании Андрюши. Вася, младший сын отца Василия, с которым Андрюша был очень дружен и постоянно играл в лошадки и в зайчики. Теткой же Коконой звал он одну нищенку-старуху — Татьяну. С этой старухой у Андрюши дружеские отношения никогда не прерывались... Это были два существа, любившие Андрюшу и взаимно любимые им...

— Тошно, мама! — стонал Андрюша, мечась по жесткой постели. — Тятя!.. Тошно! Ох, тошнехонько...

Горячка жгла Андрюшу. Когда сумерки спустились на печальный сад, на его старые деревья; когда в сероватом небе угас последний дневной луч и на земле стемнело, горячка совсем уже сожгла Андрюшу и труп его бросила в холодные объятия бледной гостии...

И вот — лежит Андрюша на столе, в переднем углу; светлые волосы его гладко причесаны, он наряжен в белую рубашку. Старинный образок-складенец стоит у него в головах; восковые свечи горят, горят и тускло освещают спокойное милое личико. Тонкие, исхудалые ручонки легко покоятся на впалой груди. Тихая, безмятежная улыбка не сходит с побледневших губ.

— Светик ты мой! Радость моя ненаглядная! — причитала Степановна, обливая слезами подушечку и кудрявую голову, ту самую голову, по которой она так жестоко, так немилосердно была Андрюшу при жизни.

Мать поцеловала холодный лоб своего сына, его глазки, закрытые навеки, те самые глазки, которые так часто смотрели на нее то ласково, то испуганно, то с мольбой.

Никита молча стоял у покойника в ногах и смотрел на бледное лицо, не отводя глаз, не шевелясь, словно боясь разрушить овладевшее им очарование. Хмель вышибло у Никиты из головы мигом, лишь только слышал он громкие всхлипыванья жены: Никита заснул было так крепко-крепко... «Сон что-то очень долит: гости, видно, будут!» — подумал он, засыпая. «Успокоился, успокоился голубчик наш!» — услышал Никита сквозь сон... Увидев же вместо своего любимца Андрюши похолоделый труп, Никита без стога, без вздоха тяжело опустился на лавку, запустил руки в свои седые волосы, да так и замер...

Нехорошее пробуждение! Такое отрезвление показалось слишком жестоким даже и для загрубелого Никиты... В первые минуты он сидел без определенных дум, без желаний; только одно скорбное сознание болезненно-ярко выступало из хаоса обуревавших его ощущений: он потерял Андрюшу, никогда его больше не найдет он, хотя бы весь мир прошел из конца в конец, никогда не

услышит его голоса, никогда маленькие ручонки не поласкают его, старика, не обовьются вокруг его загорелой морщинистой шеи. Это сознание темною тучей налегло на Никиту, приклонило низко его голову. Один-то радостный луч только и был у него, и тот погас. Глухой ропот и грешные жалобы поднялись в душе Никиты. Потом еще явилось раскаяние: так ли он заботился об этом нежном создании, как бы следовало? Раскаяние мучительно охватило Никиту. Оно, без огня, жгло несчастного отца. Быть может, один Андрюша, один он, добрый, любил его искренно, чистосердечно. *Теперь* только столяр почувствовал, какая пустота водворилась кругом него со смертью сына; *теперь* только осознал он ясно, как сильно он был привязан к этому безгласному, доброму существу.

«Проспал! — с горечью думал Никита. — Он, сердечный, маялся... А я зелья этого проклятого натрескался... дрыхнуть залег... и не посидел у него... в последние-то минутки не побыл с ним! Не простился... Проспал!.. Ах, чтоб...»

Напрасно Степановна дергала его за руку и изо всей мочи трясла его за плечо; Никита не шевелился и, словно пришибленный, не подавал признака жизни. Напрасно жена его усовещивала не грешить, говорила, что «покойника обмывать надоть»; Никита все-таки не шевелился и продолжал сидеть в ногах у Андрюши, точно его какая-то невидимая сила пригвоздила к старой деревянной лавке.

Наконец руки его разжались, опустились. Столяр поднялся и, не глядя на Андрюшу, вышел из избы...

Поутру следующего дня Никита, сидя на крыльце, доделывал сыну гробик. Он старательно выглаживал его стругом.

Хмурит Никита свои густые брови и вздыхает исподтишка. «Не к лучшему ли это сделалось, что умер Андрюша? — размышляет столяр. — Чего бы он еще, сердечный, натерпелся-то, может быть! Да... Не лучше ли так-то?!»

Хмурится Никита.

Ветер кружит щепки и стружки у ног Никиты, кружит и разносит их по сторонам. Кружатся стружки по улице и уносятся. Никитины думы не уносятся вместе с ними. Гроб доделан. Не додуманы думы до конца...

На похоронах Андрюши Палаша недуманно-негаданно столкнулась в темных сенцах с Федором Гришиным. Она бежала наверх, а тот входил в сени. Девушка впопыхах набежала на Федора, вскрикнула и отшатнулась.

— Испугались! — заметил мастеровой, с усмешкой глядя на вспыхнувшую девушку. — Приятная встреча-с! — добавил он, кланяясь.

Тусклый, брезжащий полусвет, крадучись, падал на молодую девушку из дверной щели. Словно теперь только что раскрылись у Федора глаза, и он увидел, как хороша смуглая Палаша, как пухлы ее румяные щеки, как искристы глазки, как роскошны ее глянцевитые волосы с сизоватым отливом, черные, как вороново крыло. Удивился Федор. «Где глаза-то у меня были? Куда они закатились? — спрашивал он сам себя, когда девушка уже давным-давно упорхнула по крутой лестнице наверх. — Гм! Красивая же девка в самом деле. Правду говорит Витька...» А Виктор был извозчик, давно и безнадежно влюбленный в Палашу, — друг и приятель Федора.

В то время как Федор тайком сам себе делал признания, столь лестные для Палаши, Палаша страшно волновалась, готовя хозяйское кушанье. Полузабытые мечты и надежды ожили с новою, удвоенною силой. От одного взгляда Федора, от одной его улыбки страсть проснулась в Палаше и мигом охватила ее пожаром. Все, что слыхала она от горевавшей Степановны о житье-бытье злополучной Насти, все, что сама подмечала, заставляло ее предполагать, что Федор значительно уже поохладел к больной, хилой жене и не находил прежней сладости в любви к ней, не находил отрады и мира в семье. Палаша чувствовала, что Федор может очутиться в ее руках, или, вернее, что она может отдаться Федору со всем увлечением долго затаенного чувства, со всем пылом страстной, цельной натуры.

Напрасно она старалась усиленным физическим трудом придавить порывы чувственности; напрасно она трудилась за двоих, за троих. Мысль о Федоре, о возможности близкого счастья, отдавалась в ее голове беспрепятственно, как непрерывный, мерный стук маятника.

И у Федора из ума не шла раскрасневшаяся девушка, которая набежала на него в полутемных сенях жилища Никиты и так мило, испуганно вскрикнула и отшатнулась к стене. Черные глаза провожали всюду Федора: они мелькали перед ним в сарае, в облаках едкой пыли и костицы; они следовали за ним и в грязную харчевню и поздно вечером домой; они усыпляли его, снились ему во сне, сияя, подобно далеким звездочкам; будили его утром с первым солнечным лучом.

Через неделю после похорон Андрюши Гришин повстречался с Палашей, отправляясь на работу; Палаша спешила на рынок за провизией. Им пришлось некоторое время идти вместе. Лихо заломил Федор набекрень свою поношенную фуражку.

— Позвольте-с, я вам корзинку поподнесу! — сказал он девушке, поравнявшись с нею.

— Благодарим покорно! Не устала...—ответила, будто бы нисколько не смутившись, Палаша, но сердце ее между тем так вдруг екнуло, так застучало, словно совсем хотело выскочить или разорваться.

— Позвольте-с! — повторил услужливый кавалер, отбирая от Палаши корзинку с торчавшим в ней 'бураком. — Ведь мы с вами уж давно знакомы...

— Да... знакомы... — проговорила Палаша, и безумно-страстный, ревниво-любящий 'взгляд скользнул по Федору из-под густых полуопущенных ресниц.

Они на ту пору шли по рынку между выставленными на продажу возами сена и соломы, в густой толпе толкавшихся и кричавших мужиков, мимо лавок, мимо мелочных торговцев, сидевших там и сям с коробушками и лотками, мимо извозчиц'ей биржи... На торговой площади, неподалеку от общественных весов, возвышался эшафот. Мрачною тенью рисовался на фоне тусклых, серых небес черный столб — угрюмый свидетель позора многих давно отживших и живых людей; живое море голов двигалось и волновалось вокруг эшафота.

Палаша вздрогнула, увидев черный столб и услышав вдали глухой барабанный бой; неприятное ощущение охватило ее, как говорится, до мозга костей. «Брр! — подумалось ей. — Как холодно и страшно стоять на этом высоком помосте, окруженном толпами народа!» Палаша, кажется, никогда ничего бы не сделала такого, за что бы ее потащили к роковому столбу. Какой ужас, ка-

вздрагивает при каждом стуке дверей и уныло, задумчиво прислушивается к слезливым звукам органа, играющего «Среди долины ровныя». Она сама-певала прежде эту песенку, и теперь знакомые, протяжно-заунывные звуки напомнили ей, что между близким прошлым и настоящим вдруг залегла глубокая и широкая пропасть... Ведь Федор теперь — ее. Отчего же так бледнеет и вздрагивает Палаша, достигнув давно желанного счастья?..

Дикий страх напал на нее. Бесстрашная, смелая Палаша утратила себя. Она, одна проходившая с палкой в руке дремучие леса, она, скользившая бесшумно в легком челноке по разъяренным волнам, теперь трепетала... Люди, людское мнение, осуждения, печальные следствия «незаконной любви», речи девушек об «изменщиках», о неверных друзьях, словом, все то, что в своем безумном ослеплении Палаша глубоко, упорно презирала, теперь встало перед нею, вдруг грозно поднялось, как зловещий призрак грядущих бедствий...

Палаша плачет и закрывает лицо руками. Много любила она. Неужели ей ничто не простится?!

А хриплый орган без удержу, безутешно стонет и стонет...

Х

Бедя одна не ходит

Народ, обитавший в Болотинске, был добрый народ, простой и в своей душевной простоте считавший тифозную горячку такую неумолимою гостьей, от которой ни крестом, ни пестом нельзя отделаться. Вероятно, на основании этого-то предположения и не принималось в этой ленивой стороне никаких мер к изгнанию злокачественной болезни.

— Ужо сама поуходится! — толковали болотинцы.

Тифозная горячка, с своей стороны, видно, к несчастью, догадалась, что попала в гостеприимный, радужный уголок, в котором может похозяйничать по-своему. Мигот целые деревни в окрестностях Болотинска свалила она с ног; ни старый, ни малый не ушел от ее жгучих объятий. Мужики по большей части лечились сами теми «средствами», какие бог на душу положит;

инные же, похитрее, обращались за помощью к барам, а бары, сами ничего не смысля, с патриархальным добродушием давали заболевавшим мяты, липового цвета да приказывали ставить горчичники, причем снабжали и мудрыми советами меньше есть, есть пищу легкую, беречься холода и т. д. Из города хотели было «дохтура» прислать, единственно для проформы, ибо одному доктору с сотнями отчаянно больных делать нечего, да так, впрочем, и не прислали по причине болезни другого городского врача. Таким образом, вопреки известной народной поговорке случилось, что семеро ждали одного. По деревням между тем в ожидании «дохтура» люди валялись как мухи, и очень многие отправлялись даже прямо на погост.

Из деревень горячка перебралась и в самый Болотинск, так как сношения по базарным дням между городом и деревнями не прекращались и полубольные и заболевавшие мужики возили на продажу сено и хлеб для выручки оброчных денег, а вместе с своими сельскохозяйственными продуктами развозили и тиф... Скоро горячка битком набила полуживыми трупами смрадную болотинскую больницу и дома бедных, а вскоре после масленицы она уже свирепствовала в Болотинске, не разбирая ни бедного, ни богатого.

В числе первых жертв тифа оказался Андрияша, а за ним заболела и Катерина Степановна. Она разболелась все сильнее и сильнее и то печалилась, что работа у нее остановилась в прибыльное время, то грустила о том, что «смертонька, видно, подходит», то жаловалась, что бог «кончинушки» не посылает ей, а ошеломленный Никита утешал ее, как мог.

— Ужо, погоди! Полегчает! — говорил он.

Но теперь больная Степановна во сто крат была счастливее своего здорового мужа; по крайней мере для нее выпадали порой такие блаженные минуты, такие чудесные, золотые сны грезилась ей наяву, каких прачка в действительной жизни не переживала еще никогда. Горячка дарила ей успокоение, забвенье всех бед, всех страданий. Она давала Степановне вкушать той райски-сладостной жизни, лучезарный идеал которой постоянно носился в каких-то седых туманах перед ее глазами, но к осуществлению которого не дерзала она приступить даже в мечтах.

Иногда казалось Степановне, что она живет не в грязном низу поповского дома, а в чистых, высоких комнатах. Божий свет не пробирается, как тать, сквозь щели и позамазанные бумагой оконцы, но весело и ровно заливает комнаты. И освещает он не дымную лачугу, не пыль, паутину и сор, а опрятные покои с здоровым, вольным воздухом и с чистыми стенами, без копоти и тараканов. Никита ходит такой добрый, одет чистенько и даже причесан; Настя такая хорошенькая, бог с ней, бегаёт да песенки распевает беззаботно-весело; Степка с Алешей что-то работают в другой комнате; Андрюша живой, смеющийся, на скамеечке верхом сидит, стегает ее, понукает, — скамеечка ни с места! У дверей рогожа постлана, по полу протянуты чистые половики. Над лоханью висит рукомойник — не с отбитым горлышком, а целый и совершенно новенький. На столе стоит большой самовар — да такой светлый, блестящий. Самовар кипит, теплый пар валит из него. Степановна чай заваривает и семьян поит. В комнате тепло: ни с пола, ни от окон не дует. Хлеба, молока, всякого кушанья — сколько хочешь; одежды также много... Так пожить давно уж хотелось Катерине Степановне.

Заманчивыми виденьями — все на одну и ту же тему, только с различными вариациями — счастливила горячка бедную женщину. Переход к действительности от таких сладких грез наяву не мог, конечно, показаться большой особенно приятным.

По истечении месяца вследствие болезни жены финансы Долгого, никогда и прежде не процветавшие, пришли в такое печальное состояние, что Долгий крепко-крепко призадумался и чаще прежнего принялся чесать себе затылок. Именно беда одна не ходит, но всегда или по большей части водит за собой целую гурьбу разных бед, больших и малых.

О радости я не слыхал, чтобы говорили то же самое...

Не успели еще Андрюшу землей засыпать, жена заболела. У Никиты же, как быть, на ту пору выпало горе-горькое времечко, — работы не перепадало, а с нею, следовательно, не перепадало и денег в карман столбара.

Недаром вот уж который день с утра до вечера на заборе в барском саду сидит черный ворон и каркает,

внимательно гляючи в оконцы Никитинова жилища, словно дожидаясь поживы. Напрасно уже несколько раз Никита, выведенный из терпения дикими криками, пуская камнем в ненавистного ворона. Ворон улетал и вновь прилетал, садился на старый забор и каркал. В его зловещем образе, чудилось Никите, налетело черное горе на его семью.

— Покаркаешь ты у меня, проклятый! — сквозь зубы ворчал столяр и стучал по стеклу кулаком, надеясь стуком спугнуть ненавистного соседа.

В продолжение болезни Катерины Степановны много перебивало в Никитиной каморке всякого народа, родных и знакомых... Больную *приходили навещать*.

Приходила Настя, едва ноги волочившая, и жаловалась на мужа, на его роденьку, на свое житье.

— Ходить моченьки нету! — говорила она. — Все косточки разломило... А тоже везде посылают, да и корят еще, что даром их хлеб заедаю: Все-то меня тычут... Ни от кого-то доброго словечка не дождешься... Моченьки моей больше нету!..

Столяр хмурился и в душе проклинал зятя, доведшего Настю до такого жалости достойного состояния. Точил столяр зубы и на Настину свекровь, на ягу-бабу Максимовну, на ехидную золовку-богомолку, на дурищу Марфушку. «Слезы инда прошибают, как я погляжу на нее, сердечную! — тяжело вздыхая, думает Никита, ловя печальный взгляд заплаканных глаз дочери. — А он муж... Да какой он, разбойник, муж! Душегубец он!..»

Приходила однажды навестить больную знакомая гильзошница, женщина тоже бедная, как и Степановна, вдова с большой семьей на руках. Семья, впрочем, ее уже скоро в могилу уложит. Вдова очень нехорошо кашляет, и невеселый румянец часто выступает на ее пожелтелых щеках. Глаза ее, когда-то давно приятные и живые, впали так глубоко, что иногда казалось, будто бы они смотрят откуда-то издалека, совсем уж из другого, неведомого мира, до которого не доходит ни одного отголоска страстей и треволнений мира земного. После нее останутся детки... Детки без кормила и весла поплывут по мутным волнам житейского моря... Но кому и что за дело до того, что бури разметут, разобьют

этих маленьких пловцов, когда на этих волнах гибнут без счета большие корабли!

— Вот, голубушка, шестой год пошел, как на Петрова-то работаю, — жаловалась вдова. — А копеечки еще не уступал николи... Этого, вот, от него не видала! — Рассказчица показала на кончик мизинца. — Сашутку-то мою добрые люди взялись учить даром, ну и слава богу! Времени-то слободного хошь у нас и не очень много, — она ведь у меня мундштуки в папиросы вставляет... Ну да, матушка, то думаю: все хошь не душой останется... И то иной раз пораздумашься...

Горячая слеза скатилась по щеке вдовы, упала ей на руку; скатилась и другая на рукав ее поношенного шугая.

— Ну, никто как бог! — одобрительно заметила Степановна, ворочаясь на своем жестком ложе.

— Ну да. Так вот, матушка, о Петрове-то я заговорила... — продолжала рассказчица, утирая слезы. — Прихожу третьего дня, — надо быть, в магазин к нему, — гильзы носила, тысяч пяток этак было... Грифелек, говорю, позвольте! (Сашутка прошала: ей надоть цифирь писать... Доску-то асвидную уж добрые люди дали...) Так как бы ты, Степановна, думала? — спросила вдова, вдруг оживившись; глаза блеснули как-то странно из глубоких впадин, и чахоточный румянец лихорадочно заиграл на ее исхудалых щеках. — В счет таки поставил, из платы, значит, вычтет! А и грифелек-то весь — тыфу! грош стоит медный! А кровь-то он нашу пьет, того не подумает...

Вдова закашлялась, закашлялась и с кашлем побрела домой.

Приходил сын егорьевского пономаря — юноша лет двадцати двух, маленького роста, с жиденькими льняными волосами, тощенький, горбатый, но с умным, выразительным лицом, на котором трудовые, бессонные ночи уже оставили свою яркую печать. Говорил он тихим голосом и сильно размахивая своими длинными руками.

— Каково живешь, Петр Семеныч? — спрашивал Никита, очищая для гостя местечко на лавке между всякою рухлядью и своим столярным «инструментом»,

— Плохо, брат, живется! Да и кому нынче хорошо-то живется! — отвечал семинарист.

— Богатым хорошо, обыкновенное дело! — пояснил столяр.

— Гм! Ну, тоже всяко... Подумать еще и об этом надо! — с расстановкой, как бы не договаривая, проворчал гость себе под нос.

— Ты ведь, Петр Семеныч, в бурсе-то покончил? — спросил после непродолжительной паузы хозяин.

— Кончил... Да с окончанием-то согрешил совсем! — нехотя отозвался Петр Семеныч. — Места нигде не могу найти... Из духовного-то ведь я вышел... места себе все искал... Матери-то жаль, а то бы я...

Гость задумался.

— А то-то место, про которое давно-то говорил? — заметил Никита.

— Гм! Ухнуло, брат. Нигде мне места нет, злодею этакому...

— А тятенька что? Здоров? — спросил немного погодя Никита.

— Пьет все... — был лаконический ответ.

Приходил и Никитин кум Федотыч, отставной лакей, побывавший и в Петербурге и Москве, прежний дворový, вольноотпущенный, человек с жирным, маслянистым лицом, с толстым брюхом и с медной цепочкой на лоснящемся жилете.

— Что уж нынче за порядки такие пошли! — роптал Федотыч, пыхтя и одергивая галстук на своей бычачьей шее. — Просто нам теперь никакого хода нет... Согрешили, грешные! Столько нынче вольных стало — беда! Прежде мы и в лакеях, и в швейцарах, и так по дому были... А теперь уж не-е-ет!.. Шалишь!..

— Отчего же? — заметил Никита.

— Эх, кум! Народу-то стало больно много... Всѣ мест ищут... Народ тоже тертый, битый, копейками доволен... А мы, по их милости, хоть с голода умирай... Ну, скажи, кум, по совести — дело ли это? Дело ли?

— С голоду-то умирать? — переспросил Никита. — Известно, не дело...

Федотыч рósпил с Никитой косушку водки и ушел...

Заходил в Никитино жилище отставной солдат, дальний родственник Катерины Степановны. Служивый был человек уже пожилой, с длинными с проседью усами, с негладко выбритой бородой и в кепи с засаленным кантом. Солдат тоже жаловался.

— Сродственники-то все примерли... — говорил он, обращаясь к Степановне. — Головы приклонить некуда... А ноги-то болят, покоя просят, — потому жизнь была бродячая. Перед погодой, братцы мои, иногда так заноют — просто хоть вой. Вот те Христос...

Солдат посмотрел на образ. Покурил он свою трубочку-носогрейку, выколотил ее о каблук своего длинного сапога и тоже ушел...

Хотя черный ворон и весьма настойчиво каркал в барском саду, глядя в оконцы Никитина жилья, но Степановна не умерла, а мало-помалу стала поправляться. Аппетит, наконец, явился...

— Никита! Хлебушка бы мне? — раз под вечер слабым голосом попросила больная.

— Вчерась последнюю краюху доел! — угрюмо отозвался столяр.

— А купить!.. — робко заметила жена, чуя, что дело не совсем-то ладно.

— Купила-то у меня нет... А у тебя есть, что ли? Есть, так давай! Купим: лавочка-то не на краю света... — резко проговорил Никита, словно сердясь на то, что жена после шестинедельной строгой диеты вдруг есть захотела.

— Сходил бы к Саниным, они мне еще тридцать копеек должны остались за последнюю стирку... — немного погодя сказала Степановна заискивающим тоном.

— Ну вот! Давно бы так... — успокоившись, проворчал Никита.

Морщины его поразгладились, и глаза глянули вперед посмелее.

Разогорченным возвратился столяр от Саниных; морщины опять заволокли его лоб, и глаза сердито и недоброжелательно смотрели из-под густых нависших бровей.

Госпожа Санина отказала, тридцати копеек не отдала и объявила, что такому пьянице, как Никита, она не решится дать и копейки медной.

— Утюг разве продать? — предложил столяр.

— Продай!..

Но время было уже позднее, час одиннадцатый вечера. Утюг не продан, и супругам пришлось проводить ночь голодом, ворочаясь на постели и напрасно отбиваясь от докучных, невеселых дум.

Никита более месяца сидел без работы; Степановна еще не могла по слабости приняться за стирку. Пришлось поэтому перебиваться кое-как со дня на день, закладывая за сущую безделицу и продавая за полцены всякую рухлядь и более или менее необходимую домашнюю утварь. Были проданы за гривенник сбереженные Степановной кости; были проданы два бельевые валька; в виду приближавшейся весны овчинный тулуп Никиты был отнесен в заклад; люлька, в которой качались все Никитины дети, также была сбыта в той отрадной для бедняка надежде, что качать в ней больше никого не придется. Болезнь Степановны, таким образом, весьма губительно отразилась на немудром механизме и без того уж убогого хозяйства. Безденежье и вследствие того пасмурное настроение Никиты не могло, конечно, действовать ободряюще на выздоравливавшую женщину. Но Катерина Степановна понемногу все-таки выздоравливала.

«В минуту жизни трудную» обращался было раз столяр за помощью к дяде Сидору, обращался нехотя, скрепя сердце, так как канючить у ближних он сильно не любил...

— Пожалел бы ты хоть нас... Ведь тебя три рубля-то не разорят! — говорил Никита таким требовательным и вовсе уж не просительным тоном, который Сидору Панкратьеву ни в каком случае не мог понравиться. — Бог заплатит тебе...

Услышав, что вместо всяких расписок и закладов Никита берет в поручители бога, лавочник подозрительно оглянул хмурого столяра и наотрез объявил, что «денег у него не так много, чтобы он мог по три рубля на ветер бросать».

Никита мысленно пожелал дяде Сидору подавиться его проклятыми пятаками и копейками и пришел к жене, как и ушел, без денег.

— Разжирел! — заметила Степановна в ответ на доносение Никиты о том, как изволил прихилиться ее любезнейший братец.

Собравшись наконец с силами и поправившись настолько, что могла идти, Катерина Степановна побрела в церковь.

На ту пору шла вечерня. Народа в церкви было мало. Несколько коленопреклоненных и жалостливо по-

качивавших головами старушонок вымаливали себе у бога «кончины безболезненной и мирной» да еще «доброго ответа на страшном судище Христовом»: им более не о чем было молиться... В одном из приделов стояли две барышни и весело шушукались о предстоявшем говенье, об исповеди, о белых платьях с голубыми кушаками, в которых они пойдут к святому причастию. Впереди, у правого клироса, стоял барин — старик седой, высокий — и вполголоса, страшно фальшивя на каждой ноте, подтягивал охрипшему дьячку. Степановна пришла молиться, но молитвы ее как-то странно и страшно перемешивались с разными суетными помыслами.

«Для чего я выздоровела? — спрашивала она в недоумении сама себя, отвешивая между тем низкие земные поклоны. — Для чего? Или для того, чтобы опять заболеть, да и болеть — хиреть изо дня в день, в тяготу самой себе быть да другим только мешать?..» Даже и более греховные, преступные мысли бог весть какими путями прокрадывались к ней в большую голову. Пуще огня боялась их Степановна; но напрасно она откровенно отмахивалась от наваждения дьявольского: мысли, ее пугавшие, не отлетали. Страшный призрак нужды, призрак денег, мучивший ее постоянно, не оставлял Степановну ни на шаг и в храме божием...

Странно как-то взглядывала бедная женщина на богатый иконостас, на серебряные оклады икон, на позолоченные венчики, на блестящие жемчужные привески, на тяжелые медные подсвечники, на хрусталь огромной люстры, спускавшейся с потолка. Взглянула она раз, другой, и вдруг взор ее помрачился; в невыразимом ужасе опустилась она на колени, пала ниц. Все ее слабое, худенькое тело конвульсивно вздрагивало. Ей чудилось, что темные лики гневно и грозно взирали на нее с высоты иконостаса. И в припадке отчаяния, близко граничившего с безумием, она проклинала себя, грехи свои, свои окаянные мысли, — и крепко-крепко стучалась головой о каменный пол, судорожно прижимая скрещенные пальцы правой руки то ко лбу, то к своей наболевшей груди.

Под церковными сводами ложились вечерние тени, сгущались и заливали храм. Несколько восковых свечей там и сям мерцали перед темневшим иконостасом. Глаза

Степановны, лихорадочно блестевшие, то дико блуждали по слабо озаренным иконам, тонувшим в полумраке, то перебегали к красному, трепетному пламени догоравших свечей. Степановна силилась отрешиться от всего земного и предаться небесному. Но напрасно! К земле она прикована несокрушимыми цепями; земля ее держит и не выпускает из своих мощных лап.

— Недостойная я! Недостойная! — с глубоким сердечным сокрушением шепчет Степановна, прижимаясь пылающим лбом к холодным церковным плитам. — Прости мне, господи, если что согрешила словом, делом, ведением и неведением.

Вечерня уже кончилась. Отец Василий молился перед задернутыми завесой царскими воротами и испрашивал у бога духа «смирennemудрия» и «терпения». Степановна тоже просила духа терпения: много терпения ей было надо...

Мерною поступью вышел из церкви барин; щебеча и смеясь, упорхнули барышни из-под мрачных церковных сводов на свежий, весенний воздух; крихтя и охая, поплелись старушки... За ними побрела и наша богомольщица...

XI

Всему виной — весна

Приближался светлый праздник весны, праздник солнца, тепла и цветов. На высоких местах по полям и лугам вокруг города уже темнели проталины, из-под снега выступала прошлогодняя зелень, растрескивались ивовые почки, и жаворонок по утрам пел громко и звонко.

Снег на улицах Болотинска таял и, превращаясь в мутную воду, образовывал, к удовольствию дворовых уток и мальчишек, стоячие грязные лужи или тек ручейками в придорожные канавы, роя и портя мостовую. Грязи, сказать кстати, в Болотинске было много: снег с дворов и улиц никогда не свозился; клоак не существовало и даже существовавшие канавки не прочищались и заплывали. Добродушные болотинские обыватели держались того убеждения, что солнце сгонит снег и высушит грязь без всякой человеческой помощи. Это убежде-

ние, как всякое вообще убеждение, основанное на вековом опыте, не подвергалось, по-видимому, ни малейшему сомнению ни со стороны жителей, ни со стороны полицейской власти... Итак, приближалась пора грязи.

У Егорья отблаговестили уже к вечерне.

Настя, сидя на верхней ступеньке крыльца, дошивала мужу рубашку и не заглядывалась ни на небо, ни на землю. А вокруг нее между тем все ликовало, все жило. Над ее склоненною головой тихо плыли по небу легкие беловатые облака, не темня ни сияющей лазури, ни солнца; теплый юго-восточный ветер опахивал ее тою живительною свежестью, которая знаменует собою весну. Вороны с оглушительным криком хлопотали в барском запущенном саду над поправкой своих гнезд, порастрепанных сердитыми осенними ветрами; воробьи целыми стаями беспокойно порхали по тонким жердочкам забора и немолчно чирикали.

Не с таким, бывало, равнодушием относилась Настя к весенней сияющей лазури, к скользившим по ней облакам. Во дни оны с тревогой ожидания оглядывалась Настя вокруг себя: эти легкие, светлые облака вели для нее за собою длинную вереницу прекрасных летних дней и благоухающих ночек; они вели для нее за собою что-то новое, неведомое, что-то отрадное, на что она смутно надеялась, что неясно, настойчиво, томительно ждала. Невольно Настя закрывала тогда глаза рукою, и ей представлялась чудная, сверкающая даль, окрашенная в прелестный, нежно-розовый цвет, подобный тому, каким расцвечены были края пронесившихся над нею облаков. Прежде, бывало, играючи, взглядывала она из-под руки на яркое солнце и весело смеялась, когда в глазах у нее вдруг темнело и в темноте расходились какие-то разноцветные, переливчатые круги, а по щекам катились слезы. Тогда Настя смеялась... Отрадно бывало ей, когда опахивал ее свежий весенний ветерок: он ласково-любовно перебирал ее распустившиеся волосы и словно вдыхал в нее свежесть и бодрость, вдыхал здоровые силы, мечты и надежды...

Теперь солнце светило не для нее, не для нее его золотистый свет заливал землю и даже скрашивал самую грязь и мутные лужи... И Насте даже чудилось, что ее ласкает теперь не тот же, что прежде, теплый ветерок, а какой-то совсем другой, неприятно сырой, неприятно

холодный, обдающий запахом могил и тленья... Мечтанья и надежды давно сложили свои отяжелевшие крылья, — и признаков жизни не подают. С безутешной тоской теперь Настя прислушивается к вновь пробуждающимся, давно знакомым, давно милым, ликующим звукам.

Насте теперь все равно: летнее ли, безоблачно-голубое, или осеннее неприглядное небо раскидывается над нею. Впрочем, нет! Не все равно. Ей было бы легче, если бы вокруг нее холодные ветры бушевали; тучи заволакивали бы небо из края в край, хлестал бы дождь, валил бы снег, ни зги не было бы видно, ни один светлый, ясный луч не озарял бы неба и земли. Весна же, как праздник, своими обидными улыбками еще горше растравляла ее раны.

Дошивает Настя мужнину рубашку и думает: «В прошлый год не помышляла я, что у Федора мне жить придется... Не помышляла!..» Да, Настя тогда, кажется, и ни о чем еще не помышляла: ее занимал писарь, ее волновало всякое красивое мужское лицо, ее веселило каждое светлое майское утро, когда ей приходилось выходить из дома для разноски белья. Год почти прошел после того дня, как Настя в первый раз вступила в новую семью. Год! И что ж? Вокруг нее — духота, тьма, перед ней могила. Болезнь в самом же начале медового месяца сломила ее, разбила, высушила досуха, как старый, давно спавший с ветки лист. Недобрые люди отняли у нее мужа, Федор ее разлюбил и смотрит на нее как-то странно, обидно, оскорбительно смотрит... Но чем же виновата она? Тем, что больна! Зачем же ее не полечат? Зачем Гришин вырвал ее у отца и матери, если она была ему нелюба? Ведь она не вешалась ему на шею. А зачем же она шла? А зачем же ей приходилось бежать из родного дома, от худого, тяжелого житья? Зачем испорчена, загублена из-за алтына ее жизнь? Кто дал право портить ее, то есть портить то, для починки чего и мастера на свете нет? Да кто же портил-то... Кто? Никто не ответит Насте на эти вопросы. А вопросы между тем неясно, неопределенно, но настойчиво роились в ее голове. Насте казалось, что все могло бы быть лучше, — но как это «все» могло бы сделаться лучше, она представить себе не могла, и Насте смутно чужалось, что многие и кроме нее подумывают и чувствуют порой так же, как она.

Но есть одно утешение: эти вопросы смолкнут, тоска заглохнет, горе исцелится, и не будет больше «ни плача, ни вздыхания», будет полнейший покой измученным костям, для всяких чувств и дум наступит забвение, перестанет сердце биться и сжиматься, перестанет надсаживаться грудь, перестанет голова думать и болеть... Итак, спокойствие найдено: оно — на дне могилы, оно — верно, там. И, может быть, Насте недолго уж осталось ждать этого покоя. А хорошо, если бы весна, подосбнó снегу, растопила и ее, — и вдруг Настя перестала бы страдать...

Совсем другие чувства, другие помыслы пробуждала весна-чародейка в брате, Алешке. Желанье воли, желанье счастья, лучшего житья, в котором Настя уже отчаялась, с прежнею силой поднялось в нем. Алешка еще не был разбит, и думал он не о могиле.

Каждый раз, выходя из душного сарая на чистый воздух, Алешка находил, что в сарае очень темно и сыро, и холодно, и невыносимо скучно, — а то ли дело под открытым небом: и ветерок-то тебя прохватывает, и солнышко-то греет, — любо! Предприимчивость же в Алешке, казалось, росла не по дням, а по часам, как сказочные богатыри. Вот пошел бы он куда-нибудь, да и принялся бы что-нибудь строить. Он охотнее бы согласился камни тяжелые ворочать, чем веревки вить и задыхаться от пыли.

В силу своей предприимчивости и как бы давая ей исход, Алешка, например, соорудил было у себя на дворе запруду. В русло мутного ручейка, протекавшего от конюшни к огороду, набросал он груды кирпичей, щебня, навалил липкой грязи, щеп и палок, — и ручеек скоро разлился в довольно порядочную лужу, которая глубиной достигала Алешке чуть-чуть не до колен. Но кучер, увидавший затею энергического юноши, разгреб запруду, выпустил воду и грозился оттащить Алешку за вихры, если он «вдругорядь начнет таким баловством пробавляться». Алешка обругал кучера «кривым чертом», но запруд больше не делал.

«Эх! В поля бы теперь! Работать бы да работать — раздолье! А то гниешь в такой преисподней, и сгниешь ни за грош...» И захотелось Алешке еще раз попытать

счастья, убежать из ненавистного для него сарая, из города — в деревню, в поля, в леса. Легкие у него еще не стбиты, не попорчены, руки сильны... Он еще не думает, подобно сестре, о гробовом покое; он рассчитывает еще найти счастье на земле, а не ищет его, подобно Насте, под землей; покоя ему еще не надо: не устал Алешка, не изнемог, он даже не знает, куда ему деваться с своим железным здоровьем, с своими юношескими силами. Сил столько у него, что хоть на ветер мечи!

Он уйдет подальше. Алешка еще не знает, куда именно подальше уйдет он от проклятых веревок, от проклятого темного сарая. Найдется Алешка в работники и заживет на славу. Одурающе, хмельнее всякого хмельного напитка действовала весна на его предпримчивую, непосредную натуру.

Свое намерение Алешка, как водится, сообщил брату.

Хотя Степке житье в трактире и пришлось по вкусу, но бежать он все-таки не отказался, — во-первых, потому, что недосыпать ночью, днем не иметь минуты покоя и отдыха было слишком утомительно, особенно для такой хилой натуры, как Степка; во-вторых, оттого, что Алешка, как сильнейший, теперь, как и прежде, имел на младшего брата громадное влияние. Алешка с своей стороны, разумеется, не поспешил на краски и перспективу будущего разрисовал такими яркими, радужными цветами, что у Степки слюнки потекли. Впрочем, должно заметить, что Алешка тогда не лгал, не сочинял, но говорил совершенно искренно, сам увлекался своими блестящими планами, сам верил в себя и в свои воздушные замки.

Степка поддался искушению. Невзгоды, постигшие беглецов в прошлую осень, были позабыты. Страшно и трудно было убежать в первый раз, а в другой — уже несравненно легче.

Братья сговорились бежать в первый день пасхи (страстная неделя подходила тогда к концу). И действительно, лишь только над Болотинском торжественно загудели колокола, братья сорвались со своих мест и, сказав, что идут к заутрене, убежали. «Светозарная, светонсная ночь» была, как и всегда, ночь страшно темная. Мрак чернее чернил заливал город, только красные огоньки плошек на колокольных жалостно мигали, и густая тьма словно заливала их. В соборе при выходе

братья набирали денег более рубля серебром и отправились разговляться в трактир. Тогда солнце уже возшло высоко. Напились братья чаю, выпили, закусили и, веселые, довольные и свободные, отправились на поиски за счастьем. Побродивши весь день по городу туда и сюда, побывав еще в двух — в трех харчевнях, подкрепив надлежащим образом свои силы для предстоявшего похода и запасшись кое-чем в дорогу, братья вышли из города.

Когда братья шли за городским осыпавшимся валом, начинало уже смеркаться и воздух свежел. Алешке было сильно не по себе, когда он проходил мимо старинного вала. Но не исторический вал, видевший много на своем веку, пугал смельчака. Пугало его то ровное, местами кочковатое место, которое тянулось за валом вправо от большой дороги и вдали окаймлялось перелесками и бесконечно раскинувшимися непроходимыми болотами. То было лобное место. Алешку пугало теперь, в вечерний час, воспоминание, которое связывалось для него с этою печальною равниной.

Алешке припомнилось раннее утро одного пасмурного октябрьского дня, когда на этом самом, теперь пустом, месте толпился народ вокруг высокой виселицы, а на виселице качался труп. Народ молча смотрел на казненного разбойника, а разбойник вытягивался и все кривил набок свою голову.

После того с лишком уже два года прошло, но необычайное, ужасное зрелище, свидетелем которого пришлось быть Алешке, не выходило у него из памяти, и теперь, при взгляде на знакомую, мрачную равнину с бесконечными вдали болотами, воспоминание о картине, заставлявшей тогда Алешку дрожать и стучать зубами, опять живо восстало перед ним со всеми своими ужасающими подробностями. Теперь, как и тогда, Алешку занимал вопрос: куда глядел висельник в ту минуту, как душенька его разлучалась с телом? На что последнее он бросил свой потухавший в муках взгляд? На город ли глядел он в то мгновение, как свет выкатывался у него из глаз? Угрюмые ли болота последние мелькнули перед ним? Или же он видел только пасмурное небо, раскидывавшееся над ним, подобно засаленной, грязной тряпиче? Теперь все тихо на равнине; месяц спо-

койно льет на нее свой бледный, трепетный свет... Но Алешке чудится, что сейчас вот вырастет из земли виселица, на ней мертвый тихо закачается.

Братья скорей пошли от страшного места.

В темноте, по сторонам дороги, журчала вода; Алешке казалось, что это висельник захлебывается. Рыхлый снег проваливался под ногами беглецов; местами при лунном свете видны были проталины, вдоль заборов белел еще последний снег, и Алешка везде боялся увидеть мертвеца с вытянутой шеей, с наклоненной набок головой и с страшно расширенными глазами.

Братаны порешили идти в Кладино, в большое торговое село, отстоявшее от Болотинска в пятидесяти верстах. К бабке теперь не шли братаны... Не приголубит их больше старая; ее давно в живых нет, и домишко ее уже снесли. А в Кладине братья надеялись работу найти, — работу не подневольную; если же бы, паче чаяния, и не нашли, пошли бы далее... Алешка в случае крайности думал перебраться в соседнюю губернию, а Степка намеревался странствовать в далекую Москву, представлявшуюся ему по рассказам трактирных половых каким-то совершенно земным раем, в котором гулянья, кабаки, харчевни, трактиры и монастыри с серебряными колоколами на каждом шагу.

— У тебя сколько осталось? Покажи-ка! — спрашивал его Алешка.

Тот молча достал из-за голенища медные деньги, завернутые в тряпицу, и сосчитал: оказалось десять пятаков да еще два гроша.

— У меня поменьше будет! — задумчиво проговорил Алешка. — Ну, да хватит! С голоду не помрем... В деревнях-то побираться будем... Денежки-то таким манером и прибережем!..

Степка вполне согласился с братом.

На рассвете братья-бродяги дошли до большой реки, до той реки, которую поэт называл «рекою рабства и тоски»¹.

Месяц скрылся за лесом; в голубоватой вышине

¹ Имеется в виду Волга, которую так назвал Н. А. Некрасов в своем стихотворении «На Волге» («Детство Валежникова» 1860).

бледно горели бледные звезды, а восточная окраина неба зарумянилась, зарумянились и тяжелые, синеватые облака, всю ночь лежавшие над горизонтом. Потянул ветерок. Река темнела: сероватая мгла задерживала и реку и дальний противоположный берег. С глухим шумом стекала с берегов вода...

Братья присели отдохнуть на берег и задумались. А подумать было о чем, особенно трусливому Степке. В последней деревеньке им сказали, что третьего дня почту насилу переправили, а теперь уж и «оченно опасно стало». Братья серьезно и пасмурно всматривались в серый туман, задерживавший перед ними опасный путь, вглядывались-вглядывались и ничего увидеть не могли. Небо между тем начинало уже заметно светлеть, и звезды гасли. Алешка поднялся первый и взялся за свою длинную сучковатую палку.

— Ну, махнем, что ли! чего еще пережить-то! — сказал Алешка, потягиваясь. — И то, слышь, как вода-то журчит.

Степка слышал, как «вода-то журчит», потому-то ему очень и не хотелось спускаться на реку: он, пожалуй, с большим удовольствием посидел бы на берегу, посмотрел бы, как там... Осторожно спустились братья на лед и осторожно пошли. Жутко стало Степке, когда вдруг очутился он во мгле, прохватывавшей его насквозь сыростью и холодом. Сердце его сильно заекало, и затряслись поджилки. Степка набожно крестился...

Вехи, зимой обозначавшие дорогу, солома иструхшая, клоки полусгнившего сена и навоз местами обозначали им путь. Местами братья пробирались по уцелевшему снегу, порой скользили по тонкому, хрупкому льду, старательно ощупывая впереди себя палкой, прежде чем ступить. Вода, выступившая на поверхность льда, к утру подстыла так, что могла сдерживать человека. Братья тихо пробирались среди глубочайшего безмолвия и в непроницаемой, непроглядной мгле, ловко минуя опасные места и попадая на твердый, толстый лед. Впереди шел, разумеется, Алешка... Братья видели только друг друга: ни вперед, ни назад, ни по сторонам ничего не было видно. Даже звезды не мерцали над их головами, даже румяный восток скрывался за серыми волнами тумана. Слышали они только легкий шорох своих собственных шагов, да изредка доносился до них какой-то неопреде-

ленный, отдаленный шум, словно бы шум, гул и отголоски от какой-нибудь великой подземной работы, которою было занято множество сил.

Степке очень хотелось бы воротиться благополучно назад или вперед выйти на противоположный берег, а еще было бы лучше, если бы он вовсе не сходил с берега. Степка чувствовал, что он начал ослабевать; ноги его отяжелели, и шаг сделался неверен... Страх прохватывал его все сильнее и сильнее; зубы его начинали стучать, как в лихорадке, голова кружилась, и побледневшее лицо обезображивалось выражением самого напряженного, томительного ожидания, выражением тревоги и смятенья. Алешка между тем успел уже совершенно овладеть собою, поборол свою боязнь и отважно смотрел вперед. После получасовой утомительной ходьбы он наконец прервал молчание.

— Недалеко теперь! — сказал он ободрительно, заметив искаженное лицо брата. — Кажись, уж виднеется что-то...

Степка в ответ на это утешение только вздохнул.

Вдруг раздался оглушительный треск, подобный пушечному выстрелу, и, глухим гулом прокатившись по реке, замер в отдалении... Степка страшно вздрогнул всем телом и шатнулся в сторону; ему показалось, что небо над ним расступается, что земля уходит у него из-под ног.

— Куда ты! Ведь это лед трескается! Чего ты, дурень? Постой!.. — крикнул Алешка, но слова его были заглушены вторичным, гораздо слабейшим треском, но уже раздавшимся где-то близко...

Степка провалился...

— Алешка! — крикнул он, хватаясь своими посиневшими руками за обламывавшийся край льдины. — Христа ради... Алеша...

Брат кинулся к брату, но льдина опять треснула, и хлынувшая из-под щели вода чуть не сшибла Алешку с ног... Алешка отскочил...

— Алеша! — задыхаясь, еще раз крикнул Степа и навеки скрылся в холодных волнах.

Бледный как полотно, машинально выбрал Алешка на берег и машинально же поглядел в сероватую мглу, в ту сторону, где погиб его бедняга брат. Пошел Алешка к темневшему на горизонте сосновому лесу. Сильный

ветер дул ему в лицо и разметывал его длинные светлые волосы. Алешка закутывался в свой рваный тулупишко и несколько раз задумчиво и грустно оглядывался на оставшиеся позади него туманы...

ХII

Иван Мудрый и его старая книга

Прошел Егорьев день, прошла весна, прошло и лето.

Осенние дожди с утра до ночи и с ночи до утра опять мочили поблекшую зелень; осенние ветры опять обрывали с деревьев желтый мокрый лист, кружили его в сыром воздухе и разносили по сторонам. Опять заодно с серым небом нахмурился Никита: весной добыл было он порядочную, доходную церковную работу в одном подгородном приходе, но хитрый архитектор надул столбляра. Дело вышло просто дрянь!

Смеркалось.

Дождь к вечеру пошел сильнее, ветер крепче задул, порывистее застучал неприпертыми дверями и заскрипел в саду деревьями. Степановна побрела проведать свою горемычную дочь, а Никита, оставив старого кота караулить пустую квартиру, запер дверь на замок, а ключ положил сверху дверей в щель, где должна была его найти хозяйка, возвратившись домой.

Никита отправился к своему закадычному другу-приятелю, к старику портному, которого звали «Иваном Мудрым» за то, что он очень много знал: Иван и геометрию проходил самоучкой, и французскому языку учился у одного ссыльного француза, и с историей, и с физикой познакомился, и с богословией...

— Ведь, братец ты мой, как почнет он катать из разных книг, просто уши развесишь! — толковали про него, бывало, добрые люди. — Диво, братец ты мой! Чего, чего только он не знает... Уж подлинно что «мудрый»! Волк его зарежь... И как это он дошел до всего, — по натуре, значит...

Когда Никита вошел к портному, тот стоял у стола с огромными ножницами в руке и сверх очков смотрел в книгу, раскрытую перед ним на горах суконных обзоров и холстины.

Иван Мудрый был высокий худощавый плешивый старик, с густыми седыми бакенбардами, с большими бледно-голубыми глазами, мало потускшими от лет; взгляд этих добрых светлых глаз, то пристальный, серьезный, словно чего-то добивающийся, то кроткий, мило наивный, приводил многих в смущение...

Теперь Мудрый стоял перед столом в своем обычном домашнем одеянии, то есть в старых, рыжеватых штанах и в ситцевой с розовыми полинялыми мушками рубаше, перекрещенной старыми, темными подтяжками; засаленный же сюртук висел за портным на спинке высокого стула, стоявшего перед столом более для проформы, ибо хозяин все более стоял, а если и садился, то на край рабочего стола. Огромные очки с круглыми стеклами в тяжелой медной оправе, перевязанные ниточками, залепленные воском, покоились обыкновенно на кончике большого горбатого носа.

При входе Никиты Иван Мудрый опустил ножницы на книгу и, приподняв свои густые брови, поглядел на пришедшего сверх очков.

— Ну что? — спросил он.

— Да что! Ничего... — лаконично отозвался гость и, положив шапку к себе на колени, уселся на табуретку подле стола.

Хозяин молча достал из кармана штанов табакерку, на крышке которой изображена была мрачная пещера с белою девою у входа, взял щепотку зеленоватого табаку, попотчевал и гостя. Гость, тоже молча, приложился, но, не нюхая, опустил руку с двумя крепко сжатыми пальцами на стол и как бы решительно готовился услышать от хозяина что-то хорошее... А хозяин задумчиво посмотрел на табакерку, на полуистертую белую деву, медленно перевел глаза на книгу и, словно не замечая вовсе присутствия Никиты, принялся читать вполголоса:

— Человек яко трава, дние его яко цвет сельный, тако отцветет. Яко дух пройде в нем и не будет... Яко цвет сельный! — повторил Иван Мудрый, вдумываясь в слова книги. — Гм! Вот видишь: человек уподобляется цветку, на поле растущему... Поцветет, отцветет и в землю предан будет, из нее же взят... Будет предан и истлеет...

Иван Мудрый остановился и бросил на гостя свой

серьезно-наивный взгляд. Гость промычал, и в глухом его мычании слышалось подтвердительное «да».

— Да! Тако ответит... — повторил Иван. — И не будет в нем жизни...

— А со мной-то, брат, что вышло! — начал вдруг столяр, вознамерившись отвлечь хозяина от умозрений и обратить его к делам земным.

— А что? — рассеянно спросил тот.

Никита передал своему другу о неудаче при церковной работе, постигнувшей его благодаря мошенничеству архитектора, и закончил рассказ жалобой на свою беспомощность. Друг молча выслушал грустную повесть...

— Хорошо, что ты, брат, ко мне пришел, а не подрал в свой проклятый кабачище! — сказал рассудительно Иван, потирая, по обыкновению, левую бакенбарду широко морщиноватою ладонью правой руки. — Вином-то своим горя тебе не залить, на мину́ту разве только... А я, Никита, скажу тебе словечко хорошее, а ты его и помни, всегда в уме и держи, как тошно-то станет... Полегчать может... Знаешь ли, друг ты мой любезный? Ведь если не мы, так другие до таких чудес доживут, что люди не будут обижать друг друга...

— Эх ты! Уж точно, что «мудрый»! — с усмешкой заметил столяр, чувствуя, что друг его опять улетает от него куда-то далеко, в превыспренние области, куда Никита, по своей прикованности ко всему земному, следовать за ним решительно не мог. — Ворона тебе на хвосте, что ли, такую весть принесла?.. Ох, голова, голова! В раю разве проживем этак-то...

— Нет, друг любезный! И не в раю!.. Поживем и здесь еще... — возразил серьезно, даже сурово старик, поправляя свои очки. — Не ворона мне на хвосте эту весть принесла, в книге это написано... А в книгу эту я, знаешь, крепко верю: правду она все говорит...

— Где же это так написано? — любопытствовал Никита, начиная сознавать, что умозрения друга-приятеля становятся не столь отвлеченны, как казалось ему прежде, когда речь шла о «цвете сельном».

— А вот посмотрим!.. — с видимым удовольствием проговорил Иван, уходя за перегородку.

Там достал он из большого кованого сундука простую деревянную шкатулку, а из шкатулки вытащил

книгу, бережно завернутую в кусок зеленого полинялого штофа. Книга оказалась очень старинная, рукописная, в толстом кожаном переплете, с тяжелыми медными застежками. Края толстых листов ее значительно позасалились и потемнели от частого прикосновения рук; местами виднелись закладки, — обрезки холста, ленточки и бумажки — остатки выкроек. Иван Мудрый бережно положил книгу на стол, бережно отер рукавом рубахи переплет и раздавил моль, вдруг взявшуюся невесть откуда. Но вот массивные застежки с треском отскочили, и книга, в которую «крепко верил» Мудрый, раскрылась.

На первом заглавном листе каким-то черным составом, подобным китайской туши, было немудро нарисовано трехглавое чудовище вроде змия; аляповатый всадник на маленькой, коротконогой лошадке скакал перед змием и поражал его ударами своего копья. Красною краской вокруг этой загадочной виньетки был обведен овал из цветочков, а внизу стояла красная же, кровавая надпись, загадочная не менее самой виньетки, и гласила: *«и придет и поразит»*.

Книга была написана на старинном, церковнославянском языке.

Дрожащей рукой стал перелистывать Иван Мудрый свою драгоценную книгу и наконец остановился.

— Вот слушай же, дружище! — сказал он, придвигая ближе к книге сальный огарок и поправляя очки.

— «Народятся люди сильные и храбрые, — с торжественностью начал Мудрый, немного в нос и шамкая своими беззубыми челюстями, — и возлюбят они людей, как самих себя¹. И разрушат они кумиры нечестивые, истребят храмины порочных, а святыню поруганную вознесут, и людей бедных из пленения лукавого извлекут, и мир дадут душам их. И восстанет тогда змеище, соберет свои все силы окайнные, ополчит своих темных прислужников и пойдет противу Добрых войною великою. И почнет змеище проклятое изрыгать хулы мерзкие на людей, — их же заповедь: возлюби ближнего, как

¹ Этот отрывок из «старой книги» автор перевел по возможности точно, придерживаясь подлинника, и сохранил даже некоторые церковнославянские обороты. (Прим. П. В. Засодимского.)

самого себя. И поднимутся демоны терзать и рубить Добрых, — и из каждого куска человеческого новый человек вырастет, и силы прибавит. Тогда поделится весь род людской направо и налево; и восстанет тогда царство на царство и народ на народ; даже по семействам пойдут смуты: отец не признает сына, сын не признает отца и брат — брата. Будут большие землетрясения, и глады, и моры, и ужасные явления и великие знамения с неба. Прийдут дни, в кои из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне: все будет разрушено. Так сказано в писании. И сбудется сие точно...»

Иван Мудрый приостановился, поправил опять очки, снял со свечки нагар и многозначительно посмотрел на Никиту.

— Ну! — прошептал тот, перекинул ногу на ногу и, запахнувшись в тулуп, приготовился слушать далее чудесное сказание, смысл которого для Никиты все еще оставался темнее той ночи темной, что заглядывала к ним в окно.

— «Возгорятся войны и смуты великие, — продолжал Мудрый, — но чем более напрягаться будет змеище, тем многоголовее станет возникать противу него рать верных. И свергнут чудовище и затопчут служителей его во прах, будет едино стадо и един пастырь. Солнце воссияет тогда с небес в блеске новом и осушит землю, упитанную слезами и кровью. Всех Злых лики омрачатся печалию, а Добрые возрадуются и возвеселятся. И придут от востока и запада, и севера и юга и возлягут в царствии божием, — и царствию их мира конец прописан в книге за семью печатями, вскрыть кои возможно только лев от колена Иудина, как сказано в Откровении. Конь бледный и на нем всадник, коему имя *Смерть*...»

— Ну, тут уж другое пойдет... — заметил Иван Мудрый, закрывая книгу. — Глаза-то у меня не прежние... устают! А то бы мы почитали еще с тобой...

Долго, долго за полночь толковали друзья вполголоса о «змеище» и о «временах мирных». Не водка — деревянный ковш с водой стоял перед собеседниками на столе...

Опять как-то, должно быть вскоре же после того, сидел Никита с Иваном Мудрым, с своим другом-прия-

телем. Но теперь не темная, дождливая ночь заглядывала к ним в окно, — веселый, солнечный день сиял над землей. На столе чистая скатерть постлана, и закуска на нем стоит: груды пшеничных пирогов, кусок баранины с картошкой, — и все такое вкусное, аппетитное. На дворе как будто праздник... Но какой именно праздник, Никита не может никак вспомнить...

Приходит господин — не то барин, не то купец — садится за стол, и ест, и пьет.

— Кто это? — спрашивает Никита, сильно удивляясь тому, что за странные знакомые завелись нынче у Ивана: приходят, не здороваются и без всякого приглашения садятся за стол.

— Не знаю! — отвечает Иван Мудрый, выкраивая спинку куртука, и с лукавой усмешкой смотрит на Никиту сверх своих старых очков.

Никита еще более удивляется и тут вдруг замечает, что Иван как будто бы тот, да не тот...

Господин, закусивши, пошел было вон.

— Послушай-ка! — остановил его Мудрый. — Ты книгу-то эту дочел?

Гость молча кивнул головой.

— Дай-ка мне ее теперь!.. — Иван подошел к незнакомцу. — Да уж и трубочки-то эти оставь, пожалуйста...

Незнакомец молча же положил на стол принесенные снаряды и книгу — и ушел.

— Вот уж, как потемнеет, мы с тобой, Никита, звезды будем считать! — сказал хозяин. — Я-то их, почитай, все уж пересчитал...

Никита удивлялся.

В то время толпа людей валила по улице с топорами, лопатами, с вилами, косами, с разным дреколем.

— Что это? Куда они идут? — спрашивает столяр, опять удивляясь.

— На работу идут! — поясняет Мудрый и сам начинает шить и шьет усердно-усердно.

Идет Никита на улицу и много везде встречает народа. То вон точно отец дьякон, что судился с ним у мирового из-за рам, — да нет! Не дьякон!.. А там как будто господин Кривушин, недодавший ему за мебель более тридцати рублей, — да нет! Опять-таки не Кривушин... Что за черт!.. Никита мысленно ругается и уди-

вляется все более и более... Огромные белые красивые здания утопают в роскошных садах. Во всем и повсюду, куда ни оглянется Никита, что-то новое есть и в то же самое время чего-то старого, знакомого недостает... Музыка где-то играет, как будто бы в Лобановском саду, но нет, не в Лобановском... Песни где-то поют... Мальчишки на площади играют, кричат оглушительно... Что это? Андрюша между ними! Да нет! Как точно Андрюша, а посмотришь хорошенько — не Андрюша... «Что за чудо! Что за чудо!» — шепчет Никита. И город-то походит на Болотинск, а все-таки не Болотинск...

«Что за притча! Ровно нечистый меня обошел...» — раздумывает Никита и идет опять к Ивану Мудрому за объяснениями.

— Помнишь, в старой книге я тебе о чудовището читал? Давно читал, помнишь? — спрашивает Мудрый.

— Помню! — машинально отвечает Никита. — Да ведь ты мне это недавно, брат, читал...

— «Недавно»! — передразнивает его портной и усмехается. — Нет, брат, давно... Это еще *там* я читал тебе!.. Вот когда, друг ты мой! Ты ведь все это время проспал, а на хорошую-то пору как быть и поднялся... А чудовища-то того трехглавого уничтожили... Все и бесы его исчезли с лица земли... Теперь уж царствие божие наступило... Теперь уж...

Вдруг кто-то заплакал — и Никита пробудился...

Тихо плакала во сне Степановна, и дождь хлестал в окна. Очень скучною и угрюмою показалась Никите ночная темнота после того яркого света, который слепил его во сне; после музыки и веселого пенья очень скучен показался Никите заунывный шум деревьев...

ХIII

Кто не виноват?

Опять весна. Опять с безоблачных небес полился веселый свет; опять жаворонок звонко запел. Опять большая река с шумом понесла в далекое море свои чистые воды. Опять зазеленели вокруг Болотинска леса, луга и поля.

Зазеленела трава и на могиле Насти... Могила — без креста, но насыпана она в месте низком, сыром, и оттого вокруг нее синее бездна незабудок. Почти сплошным ковром выглядывают приземистые голубые цветочки из темно-зеленой травы. Под этим зеленеющим бугром покоится Настя; лежит себе она барыней, сложа ручки, спокойно лежит, никем не обижаемая, не тревожимая... Катерина Степановна каждый раз после обедни заходит на могилу, припадает к сырой земле, где лежит ее мученица дочь; крепко припадает Степановна к родной могилке, мнет коленами незабудки и горько-горько плачет, — не по обычаю, заведенному исстари, плачет старуха, но по искреннему материнскому чувству...

Никита, в ожидании «времен мирных и беспечальных» и всяких неописанных блаженств, запил к тому времени горькую... Дела его портились все более и более и пришли наконец в полнейший застой, вследствие чего Никита с женой часто голодали, лежали целые вечера впотьмах, в нетопленной хате: Степановна значительно одряхлела и работать за троих, как прежде, уже не могла. Люди того слоя общества, о котором идет речь в этой повести, дурно сохраняются и стареются скоро.

Федор Гришин собирался в Питер за счастьем. Об Алешке и Степке не было ни слуху ни духу... Сидор Панкратьев открывает уже третью лавку. Билетов внутреннего займа, говорят кумушки, набрал он тьму-тьмущую... Иван Мудрый все ждет и с твердою надеждой ищет вокруг себя разных знамений, по которым бы можно было предугадать о близости царствия божия, царствия духа святого, прописанного в его «старой книге»...

В верстах восьмидесяти от Болотинска шла Пелагея, работница отца Василия, Федорова полюбовница. Вокруг нее неоглядною гладью раскидывались поля; паренина чернела, словно облитая чернилами, а нежная озимь отливала изумрудом. Вечернее солнце светило мягким, ровным светом, и его золотом и блеском подергивались и близи и чуть видимые дали...

Шла Палаша не одна, но с ребенком на руках, с плодом своей несчастной любви. Месяца уже полтора

тому назад оставила она город и теперь возвращалась в Болотинск уже сам-друг на горе самой себе.

Когда начали являться несомненные признаки того положения, которое, неизвестно почему, называется интересным положением, когда стройный стан ее стал значительно полнеть, когда ей уж приходилось тяжело справляться с обычной работой — стирать, мыть полы, Палаша решила отказаться от места для сохранения своей доброй славы, по крайней мере хоть на время, и идти в родную деревню.

— С отцом хочется повидаться! Давно уж я дома-то не бывала... — говорила она отцу Василию.

— Ну и что же! Доброе дело! — соглашался отец Василий. — Сходи, да и возвращайся...

— Я уж, отец Василий, и добро-то свое у вас оставляю! — попросила девушка и немного скраснела от кроткого, но испытующе пристального взгляда священника.

— Оставь! — согласился и на это отец Василий, сам тоже слегка покраснев, и взялся за бороду...

Попадья уже замечала кое-что за Палашей и сообщала не раз свои подозрения мужу, но муж чуть уши не затыкал и усовещивал жену не грешить попусту: старый священник даже не мог представить себе беременную девушку, живущую в его доме.

— Да ты послушай, как она кашляет! — внушительно шептала ему жена.

— Ну что же! Ну и кашляет! — упорствовал муж.

Отец Василий не любил ни вражды, ни доносов, ни злых людей, ни добрых, дурно говорящих о злых, — словом, ничего такого, что неприятно смущает сердце. Отец Василий желал видеть в мире более доброго, чем злого, и был весьма склонен думать, что на свете все хорошо и все к лучшему. Сгорит ли дом, потонет ли человек, раздавят ли кого-нибудь лошади, обидит ли его самого благочинный или консистория, — отец Василий при всяком несчастном случае говорил все одно и то же:

— К лучшему, матушка, все к лучшему!

Жена, разумеется, часто не могла соглашаться с ним.

Так, старый священник и о Палаше никак не хотел думать худого, но теперь, когда работница стала отпрашиваться у него домой, священнику вдруг бросилась в глаза полнота ее, припомнились слова жены, и он по-

думал, что жена, пожалуй, и права. Вот отчего покраснел отец Василий, глядя на девушку; вот отчего он вздохнул свободно лишь тогда, как Палаша вышла от них со двора с котомкой за плечами и скрылась из виду.

«Авось отец не выдаст! — раздумывала Палаша, выходя за заставу и минуя пороховые магазины. — Авось не оттолкнет он свою дочь, приголубит ее по старой памяти, хоть в память своей первой жены...» Отец даст ей уголок в своей хате, обогреет ее, приютит и покормит, пока она не оправится. Старик даже, очень может быть, смилостивится до того, что и ребенка ее не отбросит, возьмет к себе питомцем своего безыменного внука и тем освободит бедную мать от непосильной и позорной ноши. На заступничество и любовь мачехи Палаша, конечно, не надеялась.

Но лишь только вступила она под отческий кров, как все ее надежды разлетелись в единый миг; отец, подпавший под старость еще пуще прежнего злему влиянию мачехи, прогнал прочь от себя непотребную дочь.

— Срамница! Мерзкая ты тварь этакая!.. Да как ты глаза-то свои бесстыжие показать смела!.. — хрипел суровый старик и даже не пожалел — грубо толкнул и пихнул от себя повалившуюся к нему в ноги девушку.

Тут уж Палаша поднялась, — сама гордая, сама жестокая и злая; слезы высохли у нее на глазах, зато лицо пуще побледнело. Не оглянувшись ни разу на порог родной хатки, молча пошла она по улице... Стучалась она под окнами у соседей, но и соседи не пускали ее к себе: никто не хотел принимать ее к себе, никто не хотел прикрывать тяжкий грех... Одна было ветхая старуха сжалась над юной грешницей, впустила ее, но через день же, вследствие наговоров и угроз, прогнала Палашу.

В грязной бане, на охапке грязной соломы родила Палаша своего сына-первенца. Скрипя зубами и проклиная, взяла она впервые на руки своего крошку, без имени, без прозвища. Сумеречный свет пробирался в баню сквозь разбитое оконце и сквозь густые ветви ивы, росшей под окном. И при этом сумеречном свете неприязненно смотрела Палаша на свое незаконнорожденное дитя.

И вот теперь шла она с ребенком в город, шла совсем не тою Палашей, какою выходила из города. Теперь уж не запеть ей с горя песенку, не разогнать своей кручины. Что делать? Куда деваться с своей пропащей головушкой? Что бы такое получше придумать? Вот какого рода вопросы задавала ей минута и настойчиво требовала скорого, прямого ответа. А где его взять — этот проклятый ответ? Он еще не готов; в голове Палаша мысль все еще бродит, словно в потемках; никакой свет — хотя бы самый скудный — не озаряет отуманенного мира ее души...

В город идти нельзя: девку с ребенком никто в услужение не возьмет; нигде ей места не получить, а место между тем ей необходимо для того, чтобы жить. Отдать же ребенка на воспитание, как то делают иные, Палаша не могла за неимением денег. «Ведь рубль в месяц возьмут, поди, — рассчитывала она. — Да, пожалуй, еще и больше запросят: нынче все этак дорого, хлеб-то не уродился...» А и всего-то на все она получала два рубля без четвертака!.. Где же ей платить еще за сына, когда самой-то не всегда достает этих денег. Куда же ей девать сына? По миру побираться! А стыд? Да разве Палаша умеет протягивать руку за милостыней: она умеет только работать и за работу деньги берет...

Ясный майский вечер потухал. Темные, густые облака со всех сторон заносили небо. К ночи поднялся ветер и зашумел по лесу.

Палаша шла по узкой лесной тропинке, густо заросшей травой, под нависшими ветвями старых сосен и елей. Ночь темная, без месяца, без звезд, уже наступала, а ответ между тем на роковые вопросы в руки все еще не давался. Голова болела от усиленных, напряженных дум; усталость подкашивала ноги, сердце билось редко-редко, но мерно и тяжело, словно отбивало какой-то чрезвычайно трудный, тоскливый марш, захватывавший дыхание.

Тут полубольной и разбитой Палаше под знакомый шум лесных деревьев вдруг припомнилась смелая, отважная девочка, отправлявшаяся в неведомый мир, с одной только палкой в руке, счастье себе завоевывать.

Та девочка с таким упованием смотрела вперед: так свеж, прекрасен и чист был ее собственный мир надежд и помыслов, так бодро встряхивала она своими блестящими черными волосами, такие беззаветно-веселые, задушевные песенки напевала она, что Палаше даже не верится, что та девочка была не кто иная, как она сама. Тогда Палаша думала, что если захочет что она, то все может выполнить; захочет, например, быть вольною — и останется ею навсегда... Свои желания она может исполнять безбоязненно, может устроиться независимо, в довольстве, счастливо: ведь для того она будет работать и работать...

И совершенно справедливо думала та смелая девочка, представлявшая, по своей наивности, идеальным то общество, в которое она шла с дерзким желанием быть счастливою...

Но так думала Палаша *тогда*. А теперь? Теперь уж она ясно видела, что смело она шла и смело, очертя голову, полетела в пропасть, что не устроила она себе счастья...

Так всегда: одни на костях других строят себе нечто призрачное — подобное счастью, и ничего не успевают сделать, потому что на их костях третьи хотят созидать что-то, а те, в свою очередь, попадают в руки четвертым — и так далее до бесконечности. *Не устраивается счастье на несчастье других; а строить счастье на ином основании люди не могут, не умеют...*

Стал дождь накрапывать; в лесу тени сгущались все более и более и наконец слились в одну мрачную тень и затопили собой все лесное царство... А роковой ответ все еще не получался... Вдруг заплакал ребенок: несколько холодных дождевых капель упало на него с ветки, о которую нечаянно головой задела мать. Палаша вздрогнула, крепко прижала дитя к своей ноющей груди и вдруг вместе с ним опустилась на землю. Лихорадочно блестящие глаза ее с страшным выражением впились в личико ребенка, в его смежавшиеся глазки... Ребенок долго плакал, просил груди, но материнская грудь не давала ему ни капли молока. Напрасно припадал к ней ребенок... Наконец он устал, захотел спать...

Перед глазами Палаши все вдруг ходенем заходило —

и густой кустарник, и кочки, и шумящие ели, и высокие сосны... В голове ее что-то ужасное рождалось, — и росло это «что-то» не по часам, — по мгновеньям...

Палаша, как будто во сне — кладет сына между двух высоких кочек в густую, мягкую траву, подымается с колен — тоже как будто во сне, и, пошатываясь, запинаясь за корни деревьев, идет прочь... Слабый крик доносится до нее порывом ветра, несется далее по лесу и приковывает Палашу к месту... Онемелою рукой проводит она по лицу, словно бы стараясь припомнить что-то, возвращается к двум кочкам, теребит мох и затыкает им рот ребенку. Она закрывает мхом почти всего малютку и идет... Не идет — бежит... Дождь мочит ее и пронизывает насквозь, колючие ветви сосен хлещут ей в лицо, бьют в грудь, рвут у нее с головы платок... Деревья словно хотят остановить несчастную, обезумевшую мать... Ветер страшно гудит, ревет по лесу и стонет в ветвях сосен и елей... Сквозь шум, сквозь свист и завыванье бури до Палаши опять долетает слабый крик, — этот крик отдается у нее в ушах, отдается в сердце, в голове, и мучит, и терзает несчастную детоубийцу до истощения сил, до отчаяния, до одурающей боли. То всображаемый крик... Палаше чудится, что за нею гонится кто-то, кто-то хватает ее... За нею гонится все тот же болезненный крик беспомощного существа, заживо погребенного ее руками... Нет! Невмочь! Она возвращается назад, ищет, бродит по лесу и никак не может найти свое дитя... Стонут сосны, стонут ели; треск расходится по лесу, — адская музыка гудит над темным лесом в темной вышине... Палаша измучилась, обессилела — и почти без чувств падает на грудь сухого хвороста под старою елью.

Немало седых, серебристых волос пробилось в темных блестящих волосах Палаши в эту ужасную ночь...

Через неделю после этой ночи мужики, косившие под лесом, нашли маленького мергвеца. Начались розыски, и дело скоро было раскрыто благодаря не проницательности судебного следователя, но тому, что Палаша не могла выносить дольше непосильных мук, не могла лгать — и при первом же допросе созналась во всем. Преступница, впрочем, явилась весьма закоснелой злодейкой: сильно виноватой она не признавала себя до конца.

— Делать-то мне больше нечего было! — объясняла она.

С глухим шумом захлопнулись за нею тяжелые двери тюрьмы и отделили ее навсегда от жизни, которую она так страстно, так горячо любила...

Год тому назад Алешка, в товариществе с несколькими арестантами, под конвоем шел по сибирской дорожке... Пыльная, невеселая, ровная как скатерть, вилась она, бежала без конца... Тупо, уныло поглядывал Алешка на пустынную дорогу.

1870



СОДЕРЖАНИЕ

<i>С. Розанова.</i> П. В. Засодимский	3
Грешница	13
Темные силы	112

МАССОВАЯ СЕРИЯ

Павел Владимирович
Засодимский
ГРЕШНИЦА
ТЕМНЫЕ СИЛЫ

Редактор Д. Дзюба
Художественный редактор И. Жихарев
Технический редактор В. Овсеенко
Корректор Е. Мезис

*

Сдано в набор 8/X 1958 г. Подписано в печать
26/I 1959 г. Бумага 84×108¹/₃₂ — 6,75 печ. л. = 11,1 усл.
печ. л. 11,35 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. (1—200.000)
Заказ № 140. Цена 2 р. 25 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза. Ленинград,
Измайловский пр., 29.

2 р. 25 к.